



Игорь
ШЕСТКОВ

ПОКАЖИ МНЕ ДОРОГУ В АД

Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Игорь Шестков

**Покажи мне дорогу в
ад. Рассказы и повести**

«Алетейя»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шестков И. Г.

Покажи мне дорогу в ад. Рассказы и повести / И. Г. Шестков —
«Алетейя», — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-00165-080-5

Сборник "Покажи мне дорогу в ад" состоит из рассказов, не вошедших в первые две книги, и двух готических повестей — "Человек в котелке" и "Покажи мне дорогу в ад". Несмотря на очевидный пессимизм писателя-эмигранта, придающий его прозе темный колорит, а может быть и благодаря ему, его "страшные и психоделические" тексты интересны, захватывающи, непредсказуемы. Автор посылает своих героев и с ними и читателей в миры, в которых все возможно, в миры, которые выдают себя за посмертные, параллельные или постапокалиптические, на самом же деле давно ставшие нашей обыденной реальностью. Книга предназначена только для взрослых читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-080-5

© Шестков И. Г.
© Алетейя

Содержание

На пляже	5
Силуши	10
Берлин – Москва	15
Крот	18
Земляничная поляна	22
На Арбате	25
Значок	27
Спрут	31
Летающий мертвец	34
Гинеколог	37
Кипарисы	39
Массандра	41
Июнь	46
Обновка	50
Улыбка Гопи	59
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Игорь Шестков

Покажи мне дорогу в ад

На пляже

Поселок Малый Утриш переживал, как и вся страна, перестройку. На практике это означало, что рыболовецкий колхоз перестал получать дотации из центра и скурвился. Рыбы в страдающем от экологического загрязнения Черном море было так мало, что ловля и производство сами по себе давно были нерентабельны. Три колхозных суденышка ржавели в бухточке, рыбзавод закрылся. Население было предоставлено самому себе. Кто-то уехал на заработки, кто-то пил по-черному. Некоторые сдавали сарайчики немногочисленным приезжим, привлеченным пустыми пляжами и красотой гористой местности. Мои приятели сняли в Утрише несколько комнат. На крохотной веранде нашлось бесплатное место для меня. Сам заплатить я не мог. Денег едва на дорогу хватило. Уже несколько месяцев я не мог выйти из душевного кризиса. Потерял контакт с близкими. Нигде не работал. Хотелось накупаться вдоволь и прыгнуть с одной из живописных скал вниз головой, кончить комедию.

Двоюродная сестра Сержа, парикмахерша Лялька жила в палатке примерно в полутора километрах от поселка. У водопада. Туда мы все ходили купаться и загорать.

У Ляльки были длинные ноги и большая, красивой формы грудь, которую она победно, как знамя, выставляла вперед. Я решил за ней приударить. Мой план был прост: три дня на черемуху, три дня на секс (на седьмой день Лялька уезжала), а потом забыть и больше не вспоминать. Три дня черемухи пролетели быстро. Лялька в моем присутствии кокетливо опускала глаза, томно вздыхала, еще больше выпирала грудь. В конце третьего дня, вечером, я пришел к Ляльке в палатку с вином и фруктами. Все шло как по маслу. Мы пили и ели. Я вешал Ляльке какую-то лапшу на уши. Многозначительно смотрел ей в глаза. А внутренне был полон отворачивания к себе. Вместо того, чтобы серьезно подумать о том, как жить дальше, я, как в сказке, искал защиты там, где можно только себя потерять – у глупой девахи под юбкой.

Мы сидели напротив друг друга по-турецки, на двух, положенных рядом, надувных матрасах. Лялька хихикала. Когда я нагло схватил ее за грудь, она томно проговорила: «Ах, Димыч!»

Поцеловал ее в губы. Обнял. Начал раздевать. И тут... Лялька потеряла сознание, обвисла у меня на руках. Это был легкий обморок, который через несколько секунд прошел. Я сделал из матраса кресло, усадил в него Ляльку, накинул ей на плечи ветровку, предложил вина. Лялька глотнула, тревожно посмотрела в темноту и... Я услышал, как ее зубы стучат о стекло. Моя подружка паниковала, чего-то страшно боялась. Я не понимал – чего. Перед нами было спокойное море, позади – круто поднимающийся берег, за ним горы. Оттуда никто не мог спуститься. Разве что заблудившийся шакал. Невдалеке – дюжина палаток с интеллигентными людьми, всегда готовыми прийти на помощь.

Лялька тряслась, всхлипывала, при любом шорохе хватала меня за руку. Умоляла не оставлять ее одну. Мне было досадно, но любопытно. Я сказал, что не уйду, если она мне расскажет, что ее так испугало. Мало-помалу Лялька разговорилась. Оказалось, страх ее носил чисто мистический характер. Лялька боялась маленького черного человека, который ей неоднократно являлся. Его приход всегда предзнаменовывался неким особым психическим состоянием или чувством, которое Лялька и ощутила якобы как раз в тот момент, когда мы готовы были предаться любви.

«Может, врет все, – думал я. – Боится залететь или еще что-нибудь в этом роде?»

Но будущее показало – это не так. Сексом Лялька занималась охотно, хоть и странно (подробности неинтересны). Нет, тут было дело куда серьезнее, Лялька как Моцарт действительно боялась своего «черного человека».

Это началось месяцев восемь назад. В квартире, где она жила с мамой. Весь вечер смотрели телевизор. Потом Лялька ушла в свою комнату, хотела ложиться спать. Присела на табурет чтобы посмотреть на себя в зеркало трюмо. И вдруг почувствовала это, странное, то, что сейчас должно было произойти. Захолонуло сердце – прямо из стены ее комнаты вышел небольшой черный человек. Вышел, отряхнулся как пес и посмотрел на нее дерзко.

«Азazelло», – сказал бы любой интеллигентный москвич моего поколения, но Лялька принадлежала уже к другому поколению, Булгакова не читала, гостя не узнала.

Он сказал: «Ну, приветик, Лялечка. Будем знакомы!»

Но себя не назвал, а стал ходить по комнате – как петух. Потом подошел к ней, больно ущипнул холодными пальцами за попку. Лялька чуть в обморок не упала. Потом показал ей зубы, которые стали вдруг как собачьи. Зарычал. Лялька окаменела. Закрыл пасть, захихикал, забормотал какую-то чушь: «Пать, пать, пать, всем по очереди срать, перелесок, три ручья, я уехал от тебя, красный комочек – из манды листочек, семь палок летом в воскресенье и вишневое варенье, только б поезд не проспять, если хочешь с бабой спать...»

Потом запел: «А как я свою милую, да из могилы вырою, по спине похлопаю, поставлю кверху жопою».

Встал на руки и, виляя задом, пошел по комнате на руках, а Ляльке показывал зубы. Затем встал прыжком на ноги, громко пукнул, разбил хрустальную вазу, стоящую на трюмо, и ушел в стену.

Тут в комнату вошла Лялькина мать и спросила, что у нее за шум. Увидела осколки вазы. Всплеснула руками и начала Ляльку ругать. У Ляльки хватило тогда ума о посещении черного человека не рассказывать. Ночью она не спала, боялась, что он опять появится, но под утро забылась. Пару недель все было как всегда: Лялька ходила на работу в парикмахерскую, встречалась с каким-то клиентом, спала с ним, все как обычно.

Лялька решила – пронесло. Но не тут-то было. Ехала однажды домой поздно вечером в метро. Рядом – никого. Опять пришло знакомое чувство, похолодела спина, по телу пошли мурашки. В то же время Лялька ощутила во всем теле странную приятную истому – отчего испугалась еще больше. Страшно ехать одному в метро ночью. Да еще и с предчувствием чего-то неотвратимого. А её черный человек уже катался по пустому вагону как черное колесо. Туда-сюда. Подкатился к Ляльке. Встал на ноги, приблизил свое лицо к ее лицу, вытянул неправдоподобно длинный собачий язык и провел ей по губам.

Пропищал: «Лялечка, хочешь, я тебя полижу?»

И лизнул ей шею. Как финкой резанул. Лялька задрожала. А он открыл пасть, показал собачьи клыки. Зарычал. Сделал большие глаза, поправил когтями неизвестно откуда взявшуюся на его голове челку а ля Элвис и прорычал: «Стрижешь, гнида, плохо!»

Превратился вдруг в маленького Горбачева, встал в позу и произнес назидательно голосом генсека: «Надо определиться, Лялечка, как с котятками поступим! Может быть, утопим их как Му-му?»

Затем завыл что-то рок-н-рольное, принял свой обычный образ и укатился в другой конец вагона. Сел там на сиденье. Лялька хотела на него не смотреть, но не могла оторвать взгляд. А он делал что-то непонятное. Достал из кармана сверток. Развернул. В нем было что-то красное. Как показалось Ляльке – жидкое. Черный человек начал это красное лизать языком. Затем делал такие движения, как будто апельсин чистил. Ляльке послышался тихий детский плач и жалобное мяуканье. Она от страха отключилась на несколько секунд.

Когда очнулась – черного человека уже не было в вагоне. Поезд подъезжал к станции. Надо было выходить. Лялька прошла через вагон к месту, где он сидел. На сидении лежала

изодранная детская пеленка со следами крови. На ней лежал котенок с содранной шкурой. Он смотрел на Ляльку.

Лялька вышла и побежала домой. У нее потом долго болела шея. Там, где он лизнул, осталась красная полоса. По ночам Ляльке казалось, что котенок мяукает у нее под кроватью.

Черный человек являлся Ляльке еще раз пять, прежде чем она обратилась за помощью. Все честно рассказала матери. Та – попу. Поп дал матери пузырек с святой водой и посоветовал прийти к нему с дочкой на исповедь и причастие. Лялька в Бога не верила, в церковь не пошла, однако святой водой окропила всю квартиру, а с матерью договорилась, что, если черный человек придет, она стукнет в стену. Через неделю, утром, Лялька услышала вдруг истошное мяуканье. Испугалась страшно. Поняла – сейчас появится. Стукнула в стену. Мать тут же пришла. С олеографией модного тогда Серафима Саровского и пузырьком святой воды в руках. Черный человек появился. Спокойно и без спешки вышел из стены. Мать обомлела. Выставила Саровского перед собой как дуло танка. Пыталась сказать что-то.

Черный человек олеографию из рук матери выдрал, посмотрел на святого глумливо и плюнул ему в лицо. Изящным движением выкинул в форточку. Потом грозно посмотрел на женщину. Положил ей руку на грудь и что-то прошептал. Матери тут же стало плохо. Она медленно села на пол, потом легла и лишилась чувств. Лялька выбежала из комнаты – звонить в скорую. Вызвала врача. Стуча зубами от страха, вернулась в свою комнату – черный человек и не думал исчезать. Он сидел, расставив ноги, на груди у лежащей на спине женщины. Увидев Ляльку, вскочил. Запрыгал по комнате как мячик. Захохотал. Показал собачью пасть и красный длинный язык. Запел издевательски фальцетом:

– Кошка бросила котят...

Закрутился как веретено. Вырвал из скрюченной кисти матери пузырек со святой водой, открыл его и залпом выпил содержимое. Громко рыгнул. Подскочил к Ляльке, лапнул ее за промежность и попросил, нагло улыбаясь: «Налей мне, крошка, стаканчик менструальной крови!»

Вынул как факир из кармана черного пальто граненый стеклянный стакан и подал его Ляльке. Лялька почувствовала, как кровь потоком вышла из ее вагины и, мгновенно пропитав трусики, закапала на пол. Черт подставил стакан.

Раздался звонок. Приехала скорая, Лялька побежала открывать. А потом, скорее, в ванную. Когда она вышла из ванной, врач и медсестра еще возились с лежащей на полу матерью. Черного человека в комнате не было. Граненый, запачканный кровью, стакан стоял на трюмо.

...

Разумеется, я не мог проверить, врала ли Лялька или нет. Похоже, она говорила мне правду – слишком странны и характерны были подробности явлений черного человека. У Сержа я спрашивал позже, был ли у его тети пару месяцев назад сердечный приступ. Ответ был – да, и не приступ, а инфаркт, от которого та до сих пор не оправилась. Спрашивал я, была ли Лялька у психиатра. Оказывается, была. Психиатр нашел ее психически здоровой, хотя и напуганной. Рассказ Ляльки кончился на том, что черный человек посещал ее последний раз за неделю до отъезда в Утриш. При мне он так и не появился. Лялька заснула. Я пошел домой.

Ночь была безветренная, теплая, очень темная. Луна еще не вышла. Звезд не было видно, на берегу лежал туман. Приходилось идти на ощупь. Слева от меня чуть поблескивало зеркало моря. Справа – черной стеной стояли обрывистые скалы. Я шел и думал о Ляльке и ее черте – рад был отвлечься от собственных проблем. Камешки хрустели под ногами.

Скоро в нос ударило знакомое зловоние. Это вонял мертвый дельфин, которого выбросил на прибрежные скалы прошедший недавно шторм. Где-то тут, недалеко от дельфина, я должен был свернуть направо, подняться по узенькой тропинке, выйти на поселковую улицу. Несмотря на темноту, я видел чуть белеющую тропинку, но со странным черным пятном там, где его никак не могло быть. Я шел, вытянув руки. Наткнулся на что-то, ощупал и понял, что это человек. Он стоял в проходе между скал. Я спросил его глупо: «Вы кто?»

Он не ответил. Рядом с ним порхал красный огонек – человек курил. Выпустил дым мне в лицо. Дым пах серой!

– Ты, парень, – сказал он неожиданно голосом бощмана, который хочет сделать нотацию молодому моряку. – Не суй свой нос в это дело! Понял!

Ударение он сделал на последнем слог.

– Понял? – повторил он еще раз. Потом слегка пнул меня под дых. Я задохнулся, согнулся. А разогнувшись, попытался ударить его по лицу, но мой кулак пронзил темноту. Никого передо мной не было. Путь был свободен.

На следующий день пришел я к Ляльке. Она загорала и курила сигарету. Я прилег рядом.

– Как ты?

– Все хорошо.

Я не стал ей рассказывать про мою ночную встречу – не хотел поддерживать ее безумие. Да и не был на сто процентов уверен, что это был – ее, а не – мой черный человек. Стал спрашивать Ляльку, как проходила ее жизнь до его появления. Она не могла понять, что я имею в виду. Я объяснил, что визиты черта – это наказание за что-то. Лялька долго думала, но не могла вспомнить какой-либо плохой поступок. Тогда я взял на себя роль попа. После недолгого допроса выяснилось, что Лялька за месяц до первого – явления сделала аборт, потому что – не хотела возиться с пеленками. Совершенно в этом не раскаивалась, даже забыла об этом. Я попытался объяснить ей, что, возможно, существуют какие-то высшие силы, как-то планирующие жизнь человечества. Быть может, ее ребенок должен был породить потомство, из которого через десять или двадцать поколений должен был бы произойти спаситель мира. И вот теперь – та самая серебряная цепочка разорвалась, мир погибнет, потому что парикмахерша Лялька не хотела – возиться с пеленками. Высшим силам это неприятно и они перестали защищать Ляльку от вторжений других, тоже высших, но негативно к человеку настроенных сил из мира, который мы называем адом. Лялька не приняла мои аргументы всерьез. Глупо хохотала. Я подумал – что это я действительно во все сую свой нос? Лезу с дурацкими объяснениями. Сам жить не умею, а других учу. Попрошался и ушел. Но вечером все-таки притащился опять.

Через два дня Лялька уехала. Уехал и Серж с друзьями. Я остался один в сарайчике. Загорал, плавал. Забирался на скалы, заглядывал в пропасть, делал пробу. Прыгать было страшно.

Не поддался я и другому искушению. На пляже появились три молодых женщины, ловящие человеков. Каждый день они сидели на одном и том же месте. Без трусиков, широко раскрыв бедра, демонстративно отвернувшись от моря. Рядом с ними восседал на гальке одетый, несмотря на жару, в черный костюм, мужчина. Он всегда держал дымящуюся сигарету во рту. Уж не тот ли самый, думалось мне, когда я проходил мимо этой группы и черный костюм демонстративно мне кланялся. И улыбался противно – не губами, а челюстью. Женщины были немолодые и не старые – в самом соку. Рыжеволосые. Каждый раз, когда я проходил мимо, они смотрели мне в глаза. В их взглядах ясно читался вызов. Я ни разу к ним не подошел – не потому, что меня останавливали какие-то моральные принципы, у меня их нет. Просто не хотел связываться в новую историю, достаточно мне было и Ляльки.

Быть может за это те самые высшие силы послали мне подарок. В начале сентября на пляже появилась Альбина – милая девушка 23 лет с волосатыми ногами. Мы познакомились как-то естественно, просто. Сидели на берегу рядом, голышом. Ласкались. Болтали. Глазели на медленно ползущие по горизонту корабли и кидали камешки в море. Альбина рассказывала мне о своей жизни и ученье, я что-то плел про мою московскую жизнь. Не скрыл, что женат, что хочу уехать из СССР...

Мы плавали, ныряли и как амфибии продолжали ласки в темно-зеленой глубине моря – как будто внутри огромного изумруда. Терлись спинами, обнимались, гладили ступни друг друга, я теребил кончиком языка ее затвердевшие в прохладной воде соски.

Первую совместную ночь мы провели в ее палатке. Лежали одетые на топчанах, покрытых одеялами. Альбина заснула, а я всю ночь глядел на звезды, видимые из открытой части палатки. Бездонная глубина, мировая пустота смотрела на меня своим огромным черным глазом, по сапфировому зрачку которого были рассыпаны зерна светящегося жемчуга. Я чувствовал ее старость, ее равнодушие. Мне было хорошо. Я улыбался небу.

Силуши

Валялся я на пустынном пляже. Конец сентября. Тепло. Блаженство.

Вдруг вижу, бежит ко мне какая-то старая тетка, руками размахивает. Я закрыл глаза, потому что знал: блаженство закончится, как только она откроет рот. Так и было. Тетка поведала плачущим голосом, что сынок ее соседа по палатке полез на скалы, пролез метров пятьдесят вверх, там запаниковал и не может ни спуститься, ни подняться. Что под скалой бегает в истерике его отец и не знает, что делать. Пришлось вставать, надевать сандалии. Тетка привела меня к соседу. Это был мужичок лет сорока пяти. С бородкой. Я сказал ему: «Поднимитесь на скалы слева, в обход, там полого. Ждите меня у обрыва!»

И побежал в поселок к рыбакам за веревкой. Тяжело бежать по жаре. Километр туда, километр обратно. И вверх. Хорошо еще, рыбаки поверили сразу и дали канат. Канат весил не меньше пуда. Когда бежал назад, спрашивал себя: «Подохну я сейчас или когда прибегу?»

Прибежал. Не подох. Канат мы обвязали вокруг крепкого дерева и сбросили вниз. Через десять минут мальчишка был в безопасности. А я познакомился с его отцом, Толей Киреевым.

Человек Толя был простой, советский. Закончил девять классов, отслужил, пошел работать на фабрику. Фабрика – коллектив. А в любом коллективе есть комсомольская организация. Толя умудрился до 22 лет не вступить в комсомол. Но тут его уговорили друзья. Для хохмы. Толя вступил. И искренне верил во всю пропагандистскую галиматью.

Шел 1969 год – год конфронтации СССР с Китаем. На фабрике проходило общее комсомольское собрание. На нем громили Мао Цзедунa и его культурную революцию, горячо обсуждали – события на острове Даманском. Говорили комсомольцы, выступал и почетный гость собрания – секретарь фабричного парткома. Толя внимательно слушал, но не мог понять, в чем же состоит вина председателя Мао. Из путаных речей многочисленных ораторов понять было ничего нельзя. Что на самом деле хочет Мао? Что произошло на Даманском?

В конце собрания – голосование за принятие резолюции. Секретарь парткома спрашивает – кто за? Все за. Кто воздержался – никого. Кто против? Толя поднимает руку. В зале тишина. Секретарь в недоумении. Спрашивает у своих: «Это кто такой?»

Те отвечают: «Это слесарь Киреев, мы его недавно в комсомол приняли. Наивняк жуткий».

Секретарь парткома обратился к Толе: «Товарищ Киреев, вам, может быть, что-нибудь неясно? Вы обратитесь, мы поясним».

Толя отвечает: «Нам говорили, что Мао – друг СССР, герой, спаситель Китая, мы пели песню “Алеет Восток”. А теперь, выходит, Мао плохой. Тут все выступают, агитируют, а в чем Китай виноват, непонятно».

Секретарь парткома такой атаки не ожидал. Сорвался и начал орать: «Да ты что, против постановлений партии? Ты – хунвейбин, Киреев! Убирайся в свой засраный Китай, если он тебе так нравится».

Все последующее – из области советского сюрреализма. Секретарь орал еще несколько минут, обещал «прижучить маоистов» на фабрике и ушел. Рабочие смеялись, они были довольны скандалом на скучном и длинном собрании. Резолюцию приняли и куда-то отослали, где ее положили в стол и забыли о ее существовании. Все бы кончилось полюбовно, если бы не характер Толи. Он все понимал прямо и честно. Оскорбления секретаря парткома он воспринял как реальное указание уехать в Китай. Написал заявление в китайское посольство в Москве с просьбой о въездной визе. В заявлении он написал, что уважает председателя Мао и не понимает претензий к нему со стороны СССР.

Письмо Толи конечно до посольства не дошло, а прямиком отправилось на Лубянку. Толю вызвали на допрос. И начали шить ему дело – шпионаж в пользу Китая. И осудили. И

посадили. Судья догадался, в чем дело, и не захотел губить наивную душу. Толе дали «только» пять лет. И отослали в Мордовию, где было много политических и религиозников.

Он отсидел срок со смирением и вышел из тюрьмы не уголовником, а баптистским поведением.

...

Однажды звонит мне Толя и говорит: «В деревне Силу-ши стоит старая деревянная церковь, приезжай, нужна помощь».

Я поехал. Сам не знаю почему. Плевать мне было на Силуши. И ехать было далеко – полтора часа на метро и еще двадцать минут на пригородном автобусе. Но я поехал. Иногда делаешь не то, что хочешь, не то, что надо, а просто черт знает что.

Силушевская церковь была похожа на большой старый деревянный сарай, увенчанный полупровалившейся луковкой без креста. Стояла она в заброшенном углу «малого кладбища» с полкилометра длиной. Ее окружали старые могилы и непроходимый кустарник. Невдалеке протекал канал имени Москвы. На огромном, заросшем бурьяном, поле между церковью и каналом закапывали в сталинские времена умерших на постройке канала заключенных. Местные жители говорили мне, что – там зарыли сотни тысяч человек, кости лежат всюду, прямо под травой. В десяти минутах ходьбы от церкви располагалось – «большое кладбище», в три километра длиной и в полтора шириной. А за ним простиралась, уже совершенно непредставимых размеров свалка. Чудное место!

Познакомился с отцом Ермилем и матушкой Фотиньей. Это были, описанные Гоголем, «старосветские помещики». Отец Ермилей носил совершенно невозможную козлиную бородку. Это был маленький, рыхлый мужчина с детскими ручками и подслеповатыми глазами. Матушка Фотинья, напротив, была дородная, нескладная. Великанша. Она убирала, готовила, всеми командовала, даже руководила церковным хором, не зная толком нотной грамоты. Наивность и доброта этой парочки не имели пределов. Их обманывали – они всех благословляли и любили, отдавали другим все, что могли отдать. Особенно они любили детей, сами они были бездетны. Когда матушка узнавала, что кто-то их обманул, она плакала, а батюшка уходил в алтарь молиться. Там он ругался на обманщика, а потом укорял себя, каялся перед Богом и молился за обидчика. Мне отец Ермилей, посмотрев на несколько написанных мною икон, сказал: «В ваших красках, Вадим, много чувственности, а в иконе нужен духовный колорит. Учитесь, смиряйте сердце».

А матушка добавила: «Приезжайте к нам в гости, мы вас супом накормим».

Суп этот матушкин, известный впоследствии многим прихожанам был чем-то чудовищным, малосъедобным. В нем плавали недоваренные грибы, лук, гречневая каша, соленые огурцы, квашенная капуста, картошка и еще что-то мне неизвестное. Как было не помочь таким людям. Я пожертвовал в церковь мою лучшую икону. Таскал бревна, выбрасывал мусор, клал кирпич. А на следующий день приехал опять – строить вместе с Толей совершенно необходимый туалет. И еще через день – его достраивать. Через две недели отец Ермилей заплатил мне 100 рублей. Следующие полтора года, вплоть до моего отъезда из России я помогал в Силушевской церкви. Убирал снег, пилил дрова, топил печь, прислуживал в алтаре, пел в хоре, добывал кирпичи. Иногда мне платили, а иногда и нет. Я не обижался. Мой внутренний мир был настолько абсурден, что некоторая странность мира внешнего только помогала. Судьба бьет не так больно, если ты готов подставлять ей шею. При этом я даже не был православным человеком. Шут знает, кем я был – читал тогда с упоением кришнаитские толкования Бхагавадгиты. Даже молился и приносил жертвы Кришне в неофициальном – храме в частной квартире недалеко от Черемушкинского рынка.

...

Было это поздней осенью, в первую внезапно налетевшую метель. Весь день мы с Толей работали в церкви – настилали полы. Работа это очень приятная, как и почти все работы с дере-

вом. Длиннющие плоские доски нужно было опиливать по размеру и прибивать гвоздями к поперечным бревнам, уложенным на невысоких кирпичных постаментах. Доски были хороши, примыкали друг к другу как приклеенные. Результат труда был перед нами. Еще вчера у церкви не было пола, а теперь – по церкви можно было ходить. И смолой пахло приятно.

Нам никто не мешал, мы не заметили, как прошел день и наступил вечер. Часов в десять мы поняли, что устали. Решили отдохнуть четверть часа и разъезжаться по домам.

Сели на доски. Молчали. Слушали завывание метели с улицы и кряхтение старого здания. Стены работали, бревна потрескивали. Слышны были и какие-то странные – шаги.

Я сказал:

– Толя, ты слышишь, вроде ходит кто-то. Мыши что ли?

– Слышу. Кто-то ходит.

Мы прислушались. Раздался звук – как будто кто-то, обходя снаружи церковь, царапал палочкой по стене. И опять – шаги.

– Кто здесь? – нервозно спросил Толя.

Нет ответа. Кто-то ходил в алтаре. Ходил легко, не как человек. В алтаре еще не было пола, значит ходили по земле. Мы зажгли пару церковных свечей и пошли посмотреть. Подошли к алтарю. В темноте разглядели два уставившихся на нас зеленых глаза. Кот! Мы обрадовались. Кот, даже черный, не черт и не человек, кот мышей ловит...

Потом Толя ушел, а я остался. Его автобус должен был подойти через пять минут, а мой – только через полчаса. Не хотелось стоять в темноте на дороге. И вот я в церкви один. Вспомнился вовсе не к месту – гоголевский Вий. У стен и по всем углам темно. В темноте кто-то копошится, стонет. Кот бежит по алтарю. Стены трещат, метель воеет. А может и не метель, а волки. В десяти километрах от Москвы? Кто его знает. Россия – глушь, исконная мать-земля, мировой пустырь. Тут и черти и ведьмы и волки и кое-кто похуже может встретиться. Может быть, мертвец с кладбища притащился? Или души убитых зеков по окрестностям рыщут, ищут Усатого, чтобы раздробить его кости?

Стал собираться. Переоделся. Потушил лампочку. Спокойно вышел на улицу, повернулся к двери лицом и стал ее запирать – на несколько замков. Возился с ключами, а спиной чувствовал чей-то взгляд. Запер наконец. Не спеша повернулся. И замер. Что я увидел? Сначала – только метель, деревья, кресты и надгробья, полузанесенные снегом. В десяти метрах от церкви стояла игрушечная колокольня, полуметровый треснутый колокол висел на перекладине под небольшой крышей. Под колоколом стояла темная крылатая фигура. Демон!

Стоял без движения и смотрел на меня. Черный, большой. Метель мела как развивающийся саван.

Я смотрел ему в лицо. В пустоту. И видел в ней самого себя. Видел тысячи живущих во мне злых духов. Все они показали мне свои гадкие личины.

Через несколько минут демон повернулся ко мне спиной и пошел в сторону канала. Огромные черные крылья скребли по снегу, бились о ветки кустарника. Он шел не оборачиваясь, странно подскакивая, как хромая птица. Как будто хотел взлететь, но не мог. И скоро пропал в белесой тьме.

А я пошел к остановке. Рассказывал потом жене и друзьям, что видел демона на кладбище, но мне никто не верил. Смеялись, шутили. А батюшке ничего не сказал – подумает еще, что я псих. Через несколько дней я узнал, что в тот вечер в близлежащем селе произошло убийство. Несколько мужиков перепились, устроили драку с поножовщиной. Одного – смертельно ранили. Убийца в испуге убежал. Полиция искала его, но не могла найти. Он хромал, носил длинное черное пальто. Его взяли через неделю в пивной где-то в Химках.

...

Однажды отца Ермилия пригласили причастить и соборовать умирающую старушку в деревне. Я пошел с ним. Вошли в дом. Прошли тесные грязные сени, вошли в горницу. Телеви-

зор, диван, пара стульев. А оттуда в спальню. Тут кровать, перины, какие-то тумбочки. Фотографии родственников на стенах. Несколько бумажных иконок в углу. Лампадки.

Знаете, чем пахнет русский деревенский дом? Какой-то невыносимой тухлятиной. А в спальне к этому примешивались запахи лекарств, горящих свечей и ладана. Умиравшая хрипит. Вокруг нее сидят женщины в платках. Причитают.

Отец Ермиллий чувствовал себя в такой обстановке как рыба в воде – облачился, подошел к больной, поговорил с ней ласково, разложил на столике свою амуницию, начал читать молитвы. Принимала нас дочь старушки – сама уже немолодая, лет может 60 или чуть поменьше. Деревенские русские женщины рано стареют, жизнь у них собачья, за собой они не следят...

Эта дочь отвела меня на кухню. Посадила за стол, покрытый клетчатой синей клеенкой. За столом уже сидело несколько мужчин. Мне налили полстакана водки. Не пить нельзя, обида. Выпили. Закусили вареной картошкой, черным хлебом, луком и солеными огурцами.

– Подождь парень, – сказал мне дед, муж умирающей старушки. – Сенька-внук сейчас придет, принесет раков. Тогда закусим.

И налил мне еще полстакана. Я выпил. Стало легко. Вонючка перестала мучить. Мужики были ко мне дружелюбны. Это было приятно, обычно русские люди инстинктивно чувствовали во мне чужака, бывали замкнуты или агрессивны. Разговор шел о рынке, на котором Сенька продавал кроличье мясо. Толковали о ценах, о других продавцах, о ментах, которые «хуже жидов». Я молчал и слушал – мне редко удавалось послушать что советский народ говорит. Жизнь в Москве была жизнью на острове. Настоящая Россия начиналась за Окружной дорогой.

Пришел Сенька с раками. Раков пустили «купаться» в ванную. На газовую плиту поставили огромную зеленую кастрюлю с водой. Раков полагалось варить живьем и тут же есть. Сенька был уже пьян – отмечал продажу кроликов. Его попросили рассказать, как было на рынке.

– Пришел я, значить, к обеду, чтобы эпидемстанция не того... – рассказывал Сенька. – Разложил товар. Вначале никто кроликов не брал. Я уж думал домой ехать. Потом стали покупать. Один жид лысый подошел. Купил. Потом другой, старый жид с жидовкой подошел. Третий жид, молодой, трех кроликов купил! И потом – одна жидня покупала! Одна жидня! – всхлипывал Сенька, как будто сообщал очень печальную новость.

Тем временем, батюшка закончил соборование и присел за стол. Помолился. Благословил еду. Выпил немного водки.

Стали ловить в ванне раков. Их было жалко. Несколько раков бросили в круто кипящую воду. Там они стали красивыми – покраснели.

Выпили еще. Раков я есть не умел – мяса в них мало, есть надо было руками, а я этого не люблю. Батюшка тоже не ел – по странным соображениям, приводить которые мне не хочется. Надо было бы уйти, но мы не хотели огорчать хозяев. Выпили еще, и тут Сенька потерял голову, осатанел.

– Братцы! – заорал он. Потом, посмотрев на отца Ермиллия, добавил: – Извините, батюшка. Братцы! Я буду раков живыми есть. Как японцы – едри их мать. Спорим что буду?

Кто-то попытался его урезонить. Но он слушать ничего не хотел и отправился нетвердой походкой в ванную комнату – к ракам.

– Ах, едри его, кусается! – послышалось из ванной. Потом Сенька появился в кухне. В руках он держал большого черного рака, который вяло шевелил клешнями и пускал пузыри.

– Тарелку мне большую! – орал Сенька. Тарелку ему поставили.

– И водки налейте!

Налили. Сенька выпил для храбрости и попытался оторвать раку клешню. Это у него не вышло, рак ухитрился защемить Сеньке палец. Сдавил до крови. Сенька резко отдернул руку – рак упал на пол и неожиданно проворно уполз под шкаф. Оттуда его доставали шваброй.

Вымыли в умывальнике и бросили в наказание в кипящую воду. Сенька сосал раненый палец и выл. Потом принес другого рака, оторвал ему клешню. Положил раненого рака в тарелку, из которой тот сейчас же выполз на стол. Его стали ловить. Разбили чашку. Уронили на пол вилку. Сенька разгрыз клешню, добрался до сырого мяса. Начал, демонстративно причмокивая, обсасывать.

– Господи Иисусе! – закричала, вошедшая в кухню дочь старушки. – Сенька, сынок Что ты делаешь? Фу, гадость какая! Постеснялся бы отца святого!

Мы с батюшкой покинули квартиру. А умирающая не умерла. Приходила с дедом на службу и спокойно выстаивала длиннейшие литургии отца Ермилия.

...

Толю Киреева убили в конце перестройки хулиганы. Отец Ермилий и матушка Фотинья умерли в середине девяностых. Сенька стал позже депутатом Государственной Думы.

Берлин – Москва

До отлета три часа. Аэропорт пустой и жуткий. Пассажиров не видно. Только одинокий бородач стоит, опершись о перила, и тоскливо озирается. Все ясно – и этот летит в Шереметьево. И его тоскливое, упорное ожидание – типично русский знак. Россия всегда чего-то ждет, всегда что-то терпит, она лишена настоящего и живет между никак не кончающимся «проклятым прошлым» и никогда не наступающим «светлым будущим».

Объявили регистрацию. Вошел в «предбанник», к девятым воротам. Сел. Сравнительно небольшое помещение предбанника стало наполняться пассажирами. Внимание привлекли несколько «новых русских» с шикарно, но вульгарно одетыми дамами.

У женщин сквозь показное достоинство проглядывала усталость от богатства и могущества их мужественных покровителей.

Сам не зная зачем, завел идиотский разговор-дискуссию. Спросил рядом сидящего человека средней внешности о том, стало ли лучше в России в последнее время. Тот отвечал невнятно: «Ну да, стало лучше. А может и нет. Не знаю я. Вроде лучше...»

И замолчал. Зато сидящий спереди, одетый в совершенно дикую дубленку, господин вдруг забормотал простуженным голосом: «Что вы спрашиваете? Конечно, лучше не стало. Хуже стало. Разворовали Россию. Предали и разворовали. Дерьмократы. Олигархи-евреи. А вы что, не знаете этого? Стонет матушка Русь. Ну ничего, настанет царство правды. Раскулачат гадов».

– Старая песня, – сказал третий, тот самый бородач. – Никто Россию не разворовывал. В ней всегда воровали и будут воровать. Народ сволочь, что заслужил, то и получил. Все идет, как всегда шло. Нельзя за такой короткий период изменить уклад жизни огромной страны. Но, я думаю, все устаканится и будет лучше.

Объявили посадку. Все стали подниматься.

Самолет оказался «маленьким». С одним узким проходом между креслами. Я сел рядом с проходом. И просидел два часа, не вставая, стараясь не реагировать на внешний мир, моля клаустрофобию о пощаде.

Когда приземлялись, сердце стучало, как сумасшедший ударник в джаз-оркестре. Майка промокла. Во рту была горечь. Потом полегчало. На ватных ногах, полуоглушенный, с болью в похрустывающих ушах, пошел по узкому коридору к выходу в аэропорт. Мелькнула мысль: может быть сразу улететь назад? Страх замкнутого пространства превратился в страх перед огромной темной страной, из которой я вовремя унес ноги, и в которую меня опять неизвестно зачем занесло.

– Я на родине. На родине. На родине. Дикость какая-то. Зачем я приперся? Захотелось посмотреть на оставленный город? Так нечего удивляться, что чувствуешь себя соляным столбом...

– Вам куда ехать? Вам куда?

Толпа кричащих таксистов встречала новоприбывших. Они боролись за клиентов, орали в лицо, хватали за рукав, тащили к машинам.

– 50 Долларов! И вы в Москве.

– А за тридцать поедешь? На Юго-Западную.

– Ну, садись.

Еле влез в грязные, помятые Жигули.

Москва поразила ночными огнями. В памяти все еще господствовал темный город конца сентября 1990 года. Черная ночью, а днем серая столица все еще существовавшего и вовсе не собиравшегося разваливаться Советского Союза. А тут вдруг – море огней.

Новые дома выделялись на улицах – как «новые русские» в самолете Берлин-Москва. Огромные, не вписывающиеся во все еще советский архитектурный ландшафт, с подчеркнутой закругленностью линий, они давили своей неуместностью, слепой мощью. У меня они пробудили приятное чувство узнавания хорошо знакомого старого. Архитектура Москвы во все времена отображала идею безвкусного могущества. Таков отчасти и Кремль, и сталинские высотки, и брежневские жилые районы. Третий Рим пестует свое превосходство перед провинцией, перед всем миром.

Садовое кольцо почти не изменилось. Проспект Вернадского обогатился новыми небоскребами. Вот и мамин дом – тринадцатизэтажная коробка с тремя подъездами. Подошел к подъезду. Путь мне преградила железная дверь с кодовым замком. А код был записан у меня на бумажке. Набрал код, дверь с клацаньем открылась. Прекрасно! Но дальше еще одна железная дверь. И тоже с кодовым замком. И этот код у меня был, но в нем, как позже выяснилось, не хватало одной цифры. Набрал код. Дверь не открывается. Еще раз. Никакого эффекта. Еще раз. Мертвое дело. Что делать? Не знаю. Тут только до меня дошло, что в Москве чудовищно холодно – градусов двадцать ниже нуля. А я торчу в не отапливаемом помещении. Поздно уже – полпервого ночи. Помощь нужна, иначе тут и подохнуть можно. Вышел на улицу. Постучал в стекло зарешеченного низкого окна на первом этаже. Кто-то пошевелил противную серую занавеску. Кто – не ясно. Темное пятно, даже не силуэт. Донеслось: «Вам чего?»

– Откройте мне, пожалуйста, дверь! У меня код неправильный, я из заграницы приехал, мерзну. Я сын Тамары, проживающей в этом доме...

– Мы чужим не открываем.

– Я не чужой. Позвоните Тане Полесовой, она меня знает. Она живет на пятом этаже с мужем и ребенком.

– Мы чужим не открываем.

– Я – не чужой...

Так продолжалось минут десять. Потом меня осенило – я спросил: «Гамлет, это ты? Ты же знаешь меня, я Игорь».

Ответ был уничтожающим.

– Гамлет тут двадцать лет не живет! Никакого Игоря не знаю и знать не хочу...

Мило. Молчание. Но я, по-видимому, все-таки нажал на нужную кнопку. Знакомый Гамлета позвонил подруге сестры Тане. Через пять минут любезная Таня открыла железную дверь и впустила меня в подъезд. Дала ключи. Предложила помощь. Сообщила правильный код.

Вошел в кабину лифта. Какая узкая! И внутри так же пахнет не то потом, не то кошками. По дороге лифт трещал и трясся. Казалось, что он задевает боком за стены и может в любое время мертво застрять. Доехал наконец до девятого этажа. Выдрался из лифта, как тот булгаковский господин из кадки с керченской сельдью. И попал в клетку. Путь к двери в квартиру преграждала сваренная из мощных стальных прутьев дверь. Открыл и закрыл. Еще квадратный метр пространства перед последней деревянной, покрытой оборванным коричневым дерматином дверью. Три замка. Не дом, а Кошей Бессмертный. У меня в руках – связка с десятью ключами. Математика. Два замка сломаны. Ключ в них можно долго крутить без толку. Третий еще держит. Открылся.

Горе-горюшко!

В отсутствие хозяев в квартире жили чужие люди, но мамина комната была на замке, в ней хранились ее вещи, лежали стопки моих книг, не разворованный и не розданный остаток, привезенный сюда при ликвидации моей московской квартиры, картины и много разного барахла. Комната походила на кладовку.

Лег на мамину кровать и попытался заснуть. Скверно пахнувшие, слежавшиеся за годы простыни, кусали тело, было тяжело дышать. В горле стоял ком. Понял, что заснуть в этом аду не смогу. Встал, пошел в кухню, нашел какие-то тряпки, замочил их в ванной и начал мыть пол.

Сначала в коридоре. Потом в маминой комнате. Работа шла медленно. Пыль лежала жирным двухсантиметровым пластом. И не только на полу, но и на вещах. Из пыли вылетали какие-то мошки. Квартира походила на пустынную планету, на которой начало образовываться что-то биологическое.

Пыль. Почва небытия, давшая, однако, жизнь мушкам, паучкам, неисчислимым микроорганизмам. Вот оно – будущее. Именно так оно и возникает. Из барахла оставленной жизни. В спальне уехавших хозяев.

Мне пятнадцать лет. Моя семья (мама, сестра и отчим) еще живет в маленькой двухкомнатной квартире в доме на Панферова. Но нас уже два месяца ждет прекрасная трехкомнатная квартира на девятом этаже нового дома с двумя балконами. У меня будет там своя комната. Четырнадцать квадратных метров! В доме еще не работает лифт. В квартире – только темный лакированный гарнитур. Но не гарнитур влечет меня туда. И не балконы. Меня тянет возможность побыть там с моей девчонкой наедине. Мы учимся в одной школе, Лерка – на класс моложе меня. Девочка разбитная, с гнильцой, полненькая. У меня разрывается ширинка при одной только мысли, что randevу удастся.

Не сразу, но удалось обхитрить мать и спереть ключ. Договорились. И вот, мы уже идем от метро вниз по проспекту Вернадского. Лерка в дорогой шубке, я – в синей синтетической куртке. Привезенной дедом из Финляндии. Когда меня спрашивали, откуда эта куртка, я обычно отвечал – из Японии. И был очень горд. У Лерки в руках ничего нет. У меня – авоська с вином. Четыре бутылки. И коробка тогда еще доступных шоколадных конфет. Ассорти.

Пришли. Расселись в креслах. Начали пить. Ни стаканов, ни рюмок не было. Пили из горлышка. Белое, розовое, портвейн. Адская смесь. Закусывали конфетами.

Я предложил раздеться. Лерка согласилась. Легли на не застеленный диван. Начались нежности. Четырнадцатилетняя Лерка была еще девушка. Я хотел сходу лишить ее невинности, но не знал, как подступиться. Неловкое тыканье в ее промежность ни к чему не приводило. Лерка дергалась, крутилась, верещала. В темноте она представлялась мне большой белой свиньей.

До этого момента я никогда не видел вблизи женских половых органов. Было душно, диван колотся. Мы легли валиком. Лерка взяла мое оружие в руки, явно не зная, что с ним делать. Я ткнулся губами в складки свиной кожи. В нос ударил запах мочи и тухлой рыбы. Стало противно.

Мы сели. Выпили еще. Лерка совсем опьянела и начала нести какой-то вздор. Наше время истекало – в десять Лерка должна была быть дома. Трудно было убедить ее, что необходимо уходить. Еще труднее одеть. Лерка не попадала рукой в рукав шубки. Хохотала, плела какую-то чушь. Вышли в подъезд. Пошли пешком вниз по бесконечным лестницам. Лерку вырвало. Запачкала лестницу, шубу и куртку. Я узнал проклятое ассорти. Вышли на улицу. Тут стало легче дышать. Идти Лерка не могла. Я тащил ее на себе. Через каждые пятьдесят метров по пути в метро мы останавливались. Лерку рвало, я вытирал ей лицо снегом. В метро нам повезло – милиционеры не заметили состояния Лерки. Ехать всего полчаса, но как долго они тянутся, если тошнит.

Довез я Лерку. Доставил до самой квартиры в доме на улице Ферсмана. Позвонил и спрятался. Дверь открыла ее мать, посмотрела на дочь и закричала истошно.

На следующий день мстительная и дотошная мать Лерки, журналистка, пишущая в газете «Труд» фельетоны на тему нравственности советской молодежи, пришла к моей матери – кто-то в редакции помог найти адрес – жаловаться на то, «что ваш сын делает с моей дочерью». Моя мама отвечала неожиданно сдержанно: «Для вашей дочери честь – встречаться с моим сыном. Если родится ребенок, я воспитаю».

Но мне устроила вечером головомойку. Вскоре Лерку выгнали из школы – ее застукали голой и пьяной с другим школьником в радиорубке.

Крот

Я вышел из музея и пошел к стоящему неподалеку храму. В застойное время тут располагался покрытый белой подушкой пара бассейн «Москва». В него нас гоняли от школы плавать то ли в шестом, то ли в седьмом классе. Казалось, что заново выстроенный собор – кристаллизовался не из испарений страшной русской истории, а из этого, волнующегося пара бассейна, вода которого тридцать с лишним лет смывала пот сотен тысяч купающихся безбожников.

В казенной раздевалке бассейна было холодно; потрескавшийся, местами вздувшийся, линолеумный пол карябал голые ступни. Публичная нагота в этом возрасте переносится особенно плохо – между школьниками то и дело начинались потасовки, угрюмые, невеселые столкновения. Одноклассников поддразнивали или травили. Чужакам обещали привести в следующий раз борцов или боксеров и «разобраться». Под душем дети пели, орали, хлопали звонко друг друга по спинам и ягодицам. Кафель в душевой был скользкий, неприятный, как будто заросший серо-фиолетовыми грибами. Всем хотелось поскорее в воду. Чтобы попасть в бассейн, нужно было поднырнуть под деревянный барьер. Не всем это давалось легко. Кого-то во время этой процедуры «топили» – держали за плечи и руки, не давали вынырнуть на другой стороне. Не долго, с полминуты. Жертва выныривала красная, полузадушенная, смертельно испуганная, поклявшаяся самой себе никогда больше не ходить в «Москву».

Купаться в теплой воде, защищенной от двадцатиградусного мороза полуметровым слоем теплого, клубящегося воздуха – странное, особое наслаждение. Мы не плавали, а брызгались, ныряли, бесились. Отталкивались от дна и подскакивали, убеждались, что мы на улице, что на чугунном московском небосводе горят несколько тусклых звездочек, а вокруг желтоватых лампочек уличных фонарей пульсируют красочные шаровые молнии. Мокрую голову хватал едкий морозец, лоб и уши холодели, в сердце влетал колющий мотылек извечного северного страха – пропасть в ледяной пустыне, но вот, ты уже внизу, в теплом воздухе, а потом и в горячей воде, пахнувшей хлоркой. Уши и лоб согревались мгновенно, хотелось нырнуть и посмотреть на увеличенные водой бедра трепещущих сверстниц. Потрогать их между ног.

...

В девяностых годах на этом гибло-мокром месте возник по приказу мэра Лужкова двойник взорванного в сталинские времена храма. Здание это, похожее на гигантскую станцию метро, украшенное безобразными бронзовыми фигурами и невыносимо помпезное внутри, репрезентирует то искусственное, лишенное исторических корней, новообразование, в которое мутировала официальная русская церковь.

Зашел внутрь, хотя отлично знал, что меня там ожидает.

На входе стояли милиционеры и зияла огромная магнитная арка – входящих проверяли на наличие металлических предметов. Страх перед чеченскими мстителями?

Или перед замордованными грузинами?

Перед дагестанцами?

Ингушами?

Или уже перед татарами и башкирами?

Прошел контроль – очутился внутри малахитовой шкатулки. Тут все блестело позолотой, пестрело, переливалось. Стерильная живопись – правильные пионеры-ангелы, похожий на царя, косматый старик в ночной рубашке – Бог, вылизанная, как будто подготовленная к телешоу Мадонна. Орнаменты варварские. Алтарь – терем-теремок. В нем живет маленький золотой Исусик... Стойкий оловянный солдатик, распятый на крестике...

Россия демонстрировала тут не память о погибших в борьбе с Наполеоном воинов (чему был посвящен храм-оригинал), а богатство сибирских недр и столичную коррупцию (вроде бы даже облицовочный мрамор украли и растащили на дачи сами строители-подрядчики и при-

шло облицовывать собор плитами из прессованной мраморной крошки цвета обезжиренного кефира).

Какое отношение этот бетонный, густо повапленный ящик, эта русопятая пеструха имеет к нищему еврейскому проповеднику-ересиарху, распятому римлянами две тысячи лет назад?

Во что люди превратили его учение? В имперскую архитектуру. В мертвые камни. В рисованные ковры. В орнамент. В инструмент для одурачивания масс.

Храм Христа Спасителя выглядел не как главная церковь страны, а скорее как новый, фальшиво-православный дворец съездов и похорон бывшей сановой советской гэбэшного-гламурной сволочи. Фальшак-новодел.

...

Пошел в сторону Манежа – там должна была открыться большая выставка современных художников.

Вокруг Манежа была суета. Бородатые художники вносили с черного хода картины. Они гордо запрокидывали головы, украшенные растрепанными волосами с проседью, смотрели вокруг себя надменно и мрачно – несли заботливо укутанные пузырчатыми упаковочными простынями картины так, как будто это подготовленные к погребению покойники.

Вокруг главного входа тусовалось несколько тысяч людей. Образовались несколько жирных очередей. Я ждал, пока рассосется, не понимал, открылась ли выставка, надо ли вставать в очередь, хочу ли я вообще внутрь. Какой-то невзрачный тип неопределенного возраста обратился ко мне: «Эй, отец, хочешь не выставку пройти? Давай тридцатник, проведу».

Я дал ему три грязные бумажки с изображением какой-то плотины. Он взял меня под локоть и почти силой протащил сквозь толпу и очереди. На входе он показал проверяющим билеты какой-то документ, а про меня сказал: «Этот со мной».

...

Несколько рядов картин простирались на всю длину здания. Три с половиной сотни художников. Судя по рекламе – лучших российских художников. Раньше все было «советское», теперь все стало «лучшим». Общая картина была такая же пестрая как и в храме Христа, только несколько на другой лад. Я прошелся вдоль одного ряда, потом вдоль другого – ничего интересного не заметил. Все те же приемы, те же давно известные «новшества», та же зависимость от натурализма, та же славянская цветастость, та же набитая рука и затуманенная самовосхвалением голова. Опять фальшак.

Скучно и грустно.

Какой контраст со старыми картинами Пушкинского музея. Какая потеря качества! Потеря простоты, непосредственности. Почему?

Тотальный дизайн ведет тотальную войну против органики, естественности, создает нежизнеспособные фантомы. Машина коммерции навязывает потом их массовой публике, всегда жаждущей новой лжи, новой моды. Все хотят делать – хорошие картины, – хорошие фотографии, все искажают, вылизывают форму вместо того чтобы дать ей развиваться самой. Врут. Никто не хочет видеть и знать правду, природу, социум, характер, потому что они – не красивые, потому что их трудно продать. Никто не верит форме и судьбе, все подлаживаются под господствующий стиль. Или бесстилье.

Современные галереи полны бессмысленных картин, которые, чем лживее, чем мертвее, тем больше нравятся такой же лишенной дыхания, полумертвой публике, лжезнатокам и придуркам-продавцам.

А критики придумывают заумные концепции, чтобы легче было дурачить жвачную публику.

Вышел из Манежа, пошел в сторону Красной площади.

Как все тут изменилось! Вместо Манежной площади – гигантское подземное сооружение, выпирающее из земли. В чем же смысл его «подземности», если оно все равно уничто-

жает площадь? Вместо Александровского сада выстроена какая-то невообразимая гадость – с белыми колонками... Дурацкий фонтан с лошадьми.

Вышел на Красную Площадь.

Гротескная, абсурдная картина. Вечер. Холод. Метель. Идти трудно, Красная площадь покрыта, как Антарктида, ледовым панцирем. Никого вокруг нет. Никого. Впереди – круглое – лобное место, за ним смутно сквозь метель видны как бы из цветной резины отлитые купола собора Василия Блаженного. Справа – кремлевская стена-кладбище, мавзолей Ленина. Сталинский бюст-истукан торчит непонятым предупреждением богов. Слева – длинное здание ГУМа и заново выстроенный в старорусском стиле собор. В соборе идет служба. Ее транслируют на безлюдную площадь. И только снег, уса́тый мраморный покойник у стены и Ленин в мавзолее слышат рычащий из громкоговорителей бас молящегося дьякона.

...

Я родился в послесталинской Москве. Архитектурная среда, окружающая мое раннее детство – это сталинский ампи́р здания московского Университета, «Дома преподавателей» и «Красных домов». Городская среда моего отрочества – это хрущобы, пятиэтажные здания-прямоугольники, лишенные признаков архитектуры. Со времени студенчества и до отъезда из страны – я жил в новом районе, в улучшенной девятиэтажной хрущобе. Прямоугольники выросли, увеличились коридоры и кухни, улучшилась отсутствующая в пятиэтажках звукоизоляция. Суть однако осталась прежней – голый функционализм, геометрическое и цветовое однообразие, бесконечное упрямое клонирование. Дома говорили языком советчины, твердившей – так, так, только так. И никак иначе.

Советчина клонировала не только дома и людей – но и ложки, кастрюли, сковородки, столы, стулья, уличные фонари, ручки, тетради, батареи парового отопления, женские прически, очки, штаны, платья.

Все, что окружало человека, все что производилось, внушалось и вкушалось, весь убогий советский жизненный инвентарь порождал одно желание – дематериализоваться и смыться, укрыться в недоступную для них реальность, «воспарить».

Чтобы самому не стать ложкой или, как нас учили профессора, – «колесиком и винтиком». Социальная жизнь «советской интеллигенции» определялась в той или иной степени этим главным вектором сознания. Всех нас все время отливали по форме, куда-то заталкивали, откуда-то выталкивали. А мы удирали от «них», зарывались в землю, воспаряли и падали. Пьяницы – на пахнущие блевотиной «поля Диониса» или в водочный белый ад, интеллектуалы – в миры Пруста и Кафки, разочарованные в беспомощности культуры интеллектуалы – в духовный Тибет, в небесный Иерусалим. Непрактичные евреи – через узкую щель и после многих лет борьбы – в Иерусалим реальный, населенный злыми арабами, практичные – в Нью Йорк и Бостон в программистские фирмы. А кое-кто воспарял на картину, прятался в роман или садился безнадежно в тюрьму.

Я до самого отъезда об эмиграции не помышлял. Жил после окончания университета в советском государстве и хотел радоваться жизни, заниматься творчеством, создавать что-то, имеющее больший смысл, чем бесполезный труд в научно-исследовательском институте. Все официальные пути были для меня закрыты – советское искусство было хронически больным и вызывало у нормального человека отвращение и ярость. Искусствоведение было насквозь пропитано демагогией и, как и другие гуманитарные науки, контрпродуктивно.

Я должен был выработать соответствующую стратегию, чтобы иметь возможность жить не прикасаясь к советскому радиоактивному навозу, найти или построить в идеалистических мирах свою «нишу», научиться заползать в нее, существовать в ней, получать и тратить жизненную энергию. И я, как и многие другие, научился это делать. Мое искусство было воплощением идеи – дематериализации или глобального «антидизайна». В силу такой болезненно идеалистической направленности оно никогда не имело иного смысла, чем развитие сознания.

Оно было как бы бестелесным, бесформенным и могло существовать реально только на душевных просторах или в «царстве небесном». Почти все созданное мной в добровольном затворничестве, в кооперативном микрооазисе, редко выходило на свет божий, не получало критики, производилось без обратной связи, без кислорода.

Слепой крот, сидящий глубоко в советской норе, грезил о вечности.

Земляничная поляна

Подошел к входу в метро Юго-Западная. Заглянул вниз, в переход. Черное пространство, кишашее людьми. Шею мягко облегла знакомая, пахнущая тошнотой резиновая петля. Начала душить.

– Ну давай! Спускайся. Две остановки всего, что ты трусишь! – убеждал я сам себя.

Но петля не пускала. Пришлось сделав вид, что все хорошо, отступить. Решил пройти вдоль киосков, образующих рядом с входом в метро настоящий караван-сарай. На прилавках лежали куртки, пальто, ботинки. Куртки по большей части черные, топорно сделанные, ботинки – грубые, носатые, скуластые. Подумал: «Как могла славянская широкомордость повлиять на турецкие модели одежды и обуви? Или все дело в подсознательном выборе? В притяжении стиля или в главном русском чувстве – зверином, кровном чувстве родства-неродства. Вот эти тупорылые ботинки приятны почему-то русскому сердцу, а ты, надутый неврастеник, нет».

Четверть часа гулял между гор турецких шмоток, проклинал клаустрофобию. Наконец петля отпустила. Спустился в подземный переход.

Тут был переполох. Покупатели как черные толстые пчелы роились вокруг цветных товаров, лежащих на лотках. Пахло влажным мехом.

Купил месячный проездной. Показал в проходе дежурящей там тетке. Тетка тут же взорвалась как бомба: «Ну что вы вверх ногами показываете?!» Такая злоба была в ее голосе, как будто я что-то украл или кого-то убил. За двенадцать лет жизни в Германии я потерял иммунитет – в ответ на хамство хотелось грубо ругаться, ударить тетку ногой.

Спустился в метро. Попал в огромное прямоугольное пространство. Сырое и плохо освещенное. Лампы грязные. Грязный пол. Из тоннеля пахнуло влажным теплым воздухом. Подошел поезд. Вошел в вагон.

Сел на мягкое сиденье. Передо мной стоял молодой парень в темной куртке и девушка в вязаной шапочке. Парень что-то бубнил в ухо своей спутницы. Смог разобрать только несколько слов: магазин, братки, крыша, ножи от мясников, всем выпустили кишки... Потом парень утробно загоготал. Загоготала и девушка. Меня передернуло.

Тут строгий женский голос сказал в репродуктор: «Осторожно, двери зарываются. Следующая станция метро Проспект Вернадского».

Через пять минут поднялся по эскалатору, вышел на воздух и огляделся. Все было вроде на месте: круглое здание цирка, шпиль университета, огромные дома на другой стороне проспекта. И в то же время все выглядело не так, как в мое время. Слишком часто я переносился сюда в воображении. Слишком детально восстанавливал этот ландшафт по памяти. Реальность отомстила – ускользнула в небытие, а на своем месте оставила подновленную копию. То, что я видел перед собой, было материализацией чужой истории. Я потерял этот город. Как когда-то город потерял меня.

Опять кольнула мысль – не надо было сюда приезжать. Глупо возвращаться туда, где прошло твое детство – куда умнее было бы оставить драгоценный материал для игр памяти, для ностальгических галлюцинаций.

Пошел в сторону Ленинского проспекта. Просто так, чтобы не стоять на месте. Не знал, куда идти. Не знал, зачем. На душе скребли кошки, я испугался, что не справлюсь с тоской. Вспомнил своего приятеля, развратника и прогульщика Рубика. В школьном литературном кружке читали тогда «Бурю» Шекспира. Рубик разыгрывал Калибана, дурачился, надувал презервативы и дарил шарики одноклассникам. Говорил многозначительно: «Танатос, любезные сударыни, побеждается только Эросом!»

Сам Рубик Танатоса победить не смог. Умер в двадцать семь лет. Врезался в бетонный столб на отцовских жигулях.

Царство небесное, пусть земля будет тебе пухом, Рубик...

Надо было заставить себя подумать о чем-нибудь милом. Представил себе портретную галерею моих дам. Все они смотрели на меня насуплено – не забыли моих проделок. Только одно личико не было искажено гримасой злобы. Это была Олечка, студентка филологического факультета, жившая неподалеку, на Строителей. В любую погоду мы шли в университетский парк, чтобы там обниматься и миловаться. У Олечки были красивые бедра, маленькая грудь и миленькая головка, как бы не человеческая, а принадлежащая какому-то ручному зверьку. На мои длинные словесные тирады Олечка обычно отвечала, вздыхая: «Хорошо быть умным! Не понимаю я сложноподчиненных предложений».

И смотрела на меня вопросительно и нежно. Целовались мы часами. Было сладко, но противно – как будто не с человеком целуешься, а с зайчиком. Настоящим сексом мы заняться не могли. Из-за олечкиных, нормальных для советской девушки семидесятых годов, предрассудков. Поэтому после двух-трех часов милования я провожал ее домой, а сам ехал к другой подруге, похотливой и дерзкой студентке текстильного института Мирре, проживающей недалеко от Белорусского вокзала, на улице Правда. Она жила с там мамой и сестрой, но у нее была своя комната и комната эта закрывалась на ключ.

Мы познакомились на вечере Окуджавы. У Мирры была нескладная бабистая фигура, плоская висячая грудь, большие крепкие руки. В нерусском асимметричном лице (на была наполовину армянка, наполовину полька) проглядывала прямая, неприкрытая жеманностью чувственность. Мирра хорошо рисовала, уверенно играла на гитаре, с мужчинами сходилась легко, рыдала, хохотала, была способна и на верность и на обман. Меня сразу повлекло к ней – особенно возбуждали его ее мягкие пухлые губы.

Дальше поцелуев и объятий вначале дело не шло. У Мирры явно был кто-то еще. Так продолжалось недели две. Мне уже начинало все это осточертевать. И вот однажды пошли мы в кино. Посмотрели фильм Бергмана «Земляничная поляна». Обсудили. Мне очень понравился сын профессора, которого играл Макс фон Сюдов. Меня удивило то, что что он стремился стать максимально мертвым. Я хотел быть максимально живым. Это было, однако, для меня чересчур буднично, недостаточно романтично. Душа тосковала по черному плащу и шпаге. Скандинавская установка на смерть открывала возможности для внутреннего кокетничанья с дьяволом, с концом. Давала волшебное зеркальце в лапы обезьяне. Мирру, как художественную натуру, потряс «Бергмановский свет», «органичность светотеневых переходов» и «удивительная сила молчания снов».

Погуляли. Пришли на улицу Правды. Домой нельзя – там гости.

Расставаться надо. А неохота. Зашли в подъезд. Поднялись на лифте на последний этаж. Спустились по лестнице на площадку между последним и предпоследним этажом. Поцеловались.

Мне страшно захотелось Мирру. Так, что я даже задрожал. Мирра поняла это. Присела, расстегнула мне ширинку...

Мне было ровно восемнадцать лет, когда он решил больше не онанировать. Из головы не выходила цитата какого-то советского психотерапевта, которую привела врачиха, проводящая что-то вроде принудительной сексинформации в нашей школе – «воздержание полезно для здоровья молодого человека».

Решил и перестал. Уже год длилось мое подвижничество.

Но тут молодой организм потребовал своего. Я даже не успел предупредить свою подругу. У меня сразу начался оргазм. Сперма заполнила ее рот. Поначалу Мирра мужественно пыталась ее глотать. Но жидкости было слишком много. Мирра поперхнулась, закашлялась,

инстинктивно вынула член изо рта, продолжая движения рукой. Сперма полилась струйками на грязный кафельный пол.

В этот волнующую минуту на сцене появилась жительница последнего этажа – она спускалась по лестнице в подъездной полутьме с мусорным ведром в руках. Посмотрев на нас, обознавшись, и явно не поняв, что происходит, она спросила: «Маша, это ты? И кто это с тобой?»

Машей звали ее собственную дочку. На Мирру появление соседки по подъезду, подружки ее крутой матери, произвело сильное впечатление. Она бросила все и убежала. Я зажмурил глаза. Сперма все еще текла, как из крана. На полу образовалась приличная лужа.

– Машка, стой! Куда понеслась? – закричала соседка.

– А ты чего стоишь тут, урод? – обратилась она ко мне.

Я открыл глаза и перевел дух.

Тут соседка, наконец, разглядела лужу и ее источник.

И завизжала:

– Срамник! Спрячь свои яйца!

– Ну я Машке дам, паскуде! – восклицала она, поднимаясь к себе. Я это услышал уже в лифте. Хохотал как сумасшедший. Вот тебе и «Земляничная Поляна». Простите меня, папа и мама. Воздержание полезно для здоровья! Будем жить, ханурики!

Через полгода Мирра изменила мне в общежитии университета с студентом-негром. Мы расстались.

А с нежной Олечкой я распрощался, только когда встретил свою первую жену. Иногда я спрашиваю самого себя, чтобы бы было, если бы я тогда женился на ней, начал делать научную карьеру? На долго бы меня, конечно, не хватило – уютная, похожая на зайчика жена, хорошо готовящая теща, научная рутина – все это быстро бы опротивело и разлетелось бы в прах. Так, как разлетелись оба моих брака и другие попытки долговременных союзов против сумбура и хаоса жизни.

На Арбате

Девять месяцев я работал сторожем в типографии недалеко от Старого Арбата. Несмотря на «перестройку», типография печатала исключительно творения Ленина на различных экзотических языках. Всю эту никому не нужную, но ядовитую продукцию, издавали миллионными тиражами и отправляли в страны, где многие граждане ходили без штанов. Неужели коммуняки действительно верили, что в Новой Гвинее, в Танзании или на Фиджи кто-то будет все это читать? «Как нам реорганизовать Рабкрин?» на суахили – это круто.

Все за малым исключением рабочие типографии (исключением были татары) пили по-черному. Вечерняя смена уходила за полночь домой смертельно пьяная. Только в мое время двое рабочих погибли из-за пьянства. Один крепко выпивший парень вместо того, чтобы идти в метро, прилег отдохнуть на покрытом снегом газоне соседнего бульвара. Ночью милиция нашла его окоченелый труп. Позже я видел его жену – она приходила забрать вещи мужа. Она не была опечалена тем, что муж оставил ее и двух детей. Скорее наоборот – была рада. В ее жизни появился хоть какой-то просвет. Другой пьяный рабочий упал и поранился в страшном черном подвале, где в свинцовой пыли валялись тысячи связок типографских матриц. Его слабые крики не были услышаны из-за шума от типографских машин. На его несчастье никто не зашел в подвал.

Случались и драки между выпившими – с смертоубийством, но не в мое время.

Было и воровство – в тех редких случаях, когда типография печатала что-то по-русски. Старожилы утверждали, что обычно расхищалась десятая часть русскоязычного тиража. За полгода до моего поступления на работу несколько сторожей, сговорившись с водителем грузовика, украли четыре контейнера «Приключений Тома Сойера». Водитель увез книги, сгрузил в условленном месте где-то под Москвой. Уехал, получив какой-то гонорар. На следующий день сторожа поняли – в типографии скандал. Оказывается они, в спешке не разобравшись, что к чему, украли весь тираж книги, все десять тысяч экземпляров. Книги так и не нашли, хотя было ясно, кто вор. Тираж просто напечатали и переплели еще раз. А сторожей уволили.

Однажды в теплый летний день я пошел побродить по Арбату, поглядеть на картинки художников, матрешки и прочие свидетельства наступившей свободы творчества. Вышел на Арбат. Осмотрелся. Что-то было не так – многие продавцы поспешно паковали свой товар, хотя время было самое торговое – воскресный полдень. Некоторые художники делали тоже самое. Другие – ничего не делали, просто стояли, глазели по сторонам. И публика вела себя также странно – кое-кто явно старался побыстрее покинуть матрешечную улицу, остальные – разгуливали как ни в чем не бывало, рассматривали картины, слушали пение самодеятельных бардов. Потом я понял, что те, которые убегали, знали, какая опасность надвигается на Арбат со стороны Садового кольца, а остальные не знали и не чуяли беды.

В СССР что ни день – то какой-нибудь праздник. Кого-то всегда чествовали. Как я потом узнал, в тот день страна праздновала — «День воздушно-десантных войск». В Москву отовсюду съехались бывшие ветераны-десантники, большинство которых прошли только недавно законченную Афганскую войну. Около сорока тысяч человек собралось вместе, чтобы с товарищами попраздновать, то есть, в советском варианте, напиться и похулиганить, пользуясь правом сильного. Многие «афганцы», особенно калеки, чувствовали себя несправедливо обиженными. Когда их посылали убивать или быть убитыми, никто их не спрашивал, хотят ли они этого. А теперь, в перестройку, афганскую войну критиковали в печати, искали ответственных, солдат иногда называли убийцами. Широко обсуждался случай, когда военрук-афганец устроил в своей школе кровавую баню. Осуществил на практике тайную мечту любого учителя, устроил в школе охоту на собственных учеников. Вооружен он был боевым, нелегально привезенным из Афганистана оружием. Охота продолжалась несколько часов и стоила жизни

одиннадцати школьников. Психиатры утверждали позже, что афганец всего лишь повторил дома то, что часто делал во время службы в Афганистане.

Не знаю, что делали эти сорок тысяч бывших воинов до их появления на улице художников, но хорошо помню, что было на Арбате.

С той стороны улицы, которая выходит на Садовое кольцо, слышались истошные крики. Все, естественно, начали туда смотреть. Казалось, что там прыгают какие-то пестрые мячики – вправо-влево, вверх-вниз... Когда до публики наконец дошло, что это прыгает – все побежали с Арбата в сторону Бульварного кольца. Я вошел в один из подъездов ближайшего дома, поднялся на третий этаж и занял позицию у окна на лестничной клетке. Кроме меня там было несколько девушек-продавиц, бородатый сорокалетний художник с рюкзаком, полным картин, и молодой парень, торговец матрешками, трясущийся за свое, оставленное на произвол судьбы, хозяйство. Через несколько долго длящихся секунд подошли наступающие десантники. Из окошка было прекрасно видно, как они громили Арбат. Картины драли на части и бросали, чтобы потом затоптать их ногами. Матрешки и прочую скромную свободную продукцию парни били ногами, как футболисты мяч. Ногами били не успевших убежать художников, продавцов и прохожих. Умело били не сопротивляющихся людей, били лежащих, корчащихся от боли. Передовой бойцовый отряд быстро прошел, за ним следовала огромная толпа пьяных парней в тельняшках. Они жестикулировали, приплясывали, обнимались. Эти тоже били людей, но реже и избирательно. Помнится, один голый до пояса амбал, заорал, указывая пальцем на лежащего бородатого художника: «Жид!»

И сейчас же к нему подскочили другие парни в тельняшках, схватили художника за руки, за ноги и бросили его, как тушу, в стеклянную витрину книжного магазина. Стекло разбилось и он упал вместе с осколками внутрь. Толпа защитников родины восторженно заревела: «Ура!! Мочииии!»

Нет, его не убили. Он даже потом сам встал, весь в крови от порезов. Позже его увезла скорая. Он явно не был евреем, просто был лысый и носил шикарную бороду.

Афганцы бесчинствовали на Арбате минут двадцать, потом исчезли, оставив после себя разорение и ужас. Кажется, убит все-таки никто не был, но были раненные. Больше всего пострадали абстрактные картины и уж совсем ни в чем не повинные и вполне националистически настроенные матрешки.

От Арбата афганцы двинулась по Калининскому проспекту к библиотеке им. Ленина, а оттуда к Манежу. Хотели идти на Кремль. Но тут их ждала засада. Милиции удалось зажать погромщиков в узком проезде между Старым университетом и Манежем. Там их разделили на части и избili спецназовцы. Арестовали. Развезли по участкам. Отрезвили. А на следующий день отправили по одному по домам. И не судили никого. Потому что милиция и власти тайно им сочувствовали.

Значок

Вышел на смотровую площадку. Посмотрел на Москву. Из-за метели ничего видно не было. Продрог, поплелся к университету. Хотел согреться – попытался войти через Главный вход, но меня не пропустил милиционер. Постоял рядом с колоннами. Потрогал их холодную полированную поверхность. Поглядел на площадь.

Тридцать лет назад в сентябре с этой площади, нас, новоиспеченных студентов мехмата, посылали не в аудитории «грызть гранит науки», а за сто километров от Москвы, в Можайский район, на картошку. Сейчас на площади не было ничего, кроме сугробов да трех дюжин казенных машин университетского начальства. Тогда тут стояли в ожидании сигнала к отправлению сотни автобусов и рафик, украшенный флагами факультетов. Площадь была полна студентов и провожающих, какой-то партийный тип орал в мегафон: «Передовая советская молодежь должна с честью выполнить патриотический долг в битве за урожай...»

Его никто не слушал, но никто ему и не мешал. Некоторые студенты сидели на рюкзаках и перекидывались в картишки, остальные стояли рядом с автобусами, курили, болтали. Наконец поступила команда: «По машинам!»

Погрузились. Тронулись.

Ехали долго и с остановками. Студент Никитин по дороге отстал и приехал в пункт назначения на перекладных только через три дня. Оправдывался он тем, что, мол, пошел посикать, а потом захотел и покакать. Когда вернулся – автобусы уже уехали. На самом деле, он побежал на привале за вином, стоял в сельмаге в очереди, познакомился там с кем-то, выпил на троих, загудел...

Одна пауза затянулась на два часа. Позже стало известно, почему. Оказывается, тогда происходила встреча представителей колхоза с начальством мехмата. Колхозники хотели принять двести студентов – для них было приготовлено теплое жилье в пионерском лагере, их ожидала работа. Факультетское начальство настаивало на том, чтобы все едущие в автобусах четыреста человек получили жилье и работу. Председатель заявил, что у него нет места, что в колхозе пустуют только бывшие коровники, коров в них давно нет, сдохли в эпидемию. Мехмат, однако, уже рапортовал на верх о посылке четырехсот студентов на трудовую вахту. Поэтому ненужных студентов решили поселить в этих коровниках. Привезли откуда-то полованные грязные раскладушки, положили на них старые матрасы, застелили больничное белье.

Одну половину автобусов направили в пионерлагерь, другую – в коровники. Я конечно оказался в другой половине.

Пол в коровниках вымыли, но все равно пахло коровьим навозом, было холодно. Старые печи растрескались, топить их было опасно для жизни, да и дров не было. Ничего не было. Только две сотни раскладушек с матрасами и серым сырым бельем стояли в два ряда в длинном помещении с крохотными окошками на крыше. Есть нам не дали – негде было готовить да и нечего.

На следующий день студенты сами чинили печи в коровнике и в маленьком сарае рядом – «на кухне». Откуда-то привезли огромные черные от копоти кастрюли и чайники, помятые миски и алюминиевые ложки. Появились и повара. Повара сварганили обед – перловую кашу с мясными консервами. Мой приятель Клейн грустно заметил, что это наверняка мясо тех самых коров, которые тут подошли.

Все это было противно, но терпимо. Нетерпим был единственный туалет для двухсот человек – плохенький сарайчик с двумя «очками». Вонял он так, что Клейн и спустя два часа после его посещения спрашивал с тревогой – не пахнет ли от него говном? Посмотреть в очко я боялся – так страшно смердело, но один раз он все-таки не выдержал, заглянул. В жуткой

коричневой жиже копошились тысячи белых червей. На черных деревянных стенах сидели неизвестные науке апокалиптические звери.

Работы поначалу не было – студенты были предоставлены сами себе. Что мы делали? Пьянствовали и в карты резались. В модную тогда игру – «палку». Играли вчетвером, впятером. В конце каждого кона выигравший бил проигравших картами по ушам. Сколько раз и каким количеством карт – зависело не от игры, а от случая. Проигравший вытягивал из колоды две карты. Например, дама и девятка означали три удара девятью картами. Вытянувший два туза несчастливцев получал сорок ударов всей колодой. Били чаще всего не сильно – только для смеха. Жертва должна была громко стонать и зла на экзекутора не держать. Тем более, что палач через несколько минут сам занимал ее место и дрожащей рукой тянул из колоды две роковые карты.

Клейн научил меня бить по ушам снизу (обычно били сверху). Такой удар приводил жертву в трансцендентальное состояние. Тот кайф, который цивилизованный европеец или американец нашего возраста получал от марихуаны, мы славивали от удара по уху.

Многие ходили в близлежащую деревню, разведать, как там «насчет клубнички». Маленькая осетинка-врач на вечерней линейке настоятельно отговаривала студентов от амурных приключений. Утверждала, что в окрестных деревнях до восьмидесяти процентов взрослого населения болеет сифилисом. Некоторые этому не поверили. Эти некоторые должны были потом долго и нудно лечиться. И не только от сифилиса, но и от других венерических болезней, которые все вместе на тогдашнем жаргоне назывались – букет.

Ходил в лес. По грибы и просто так. Лесу конца и краю не было. Между лесами располагались огромные поля с картошкой, убирать которую никто не хотел.

– Не мое, колхозное, все равно все сгниет в овощехранилище. Чего его и убирать? – так говорили деревенские мужики. Ждали каких-то чудо-гэдээровских комбайнов. Хотя ждать их было глупо. Комбайны стояли себе спокойно в гараже недалеко от коровника. Уже три года. Колхоз купил их после поездки председателя в ГДР. Но без запасных частей. На них денег не хватило. Любой комбайнер знает, что это означает. Через три недели эксплуатации такой комбайн встанет навсегда. Поэтому умные немецкие машины стояли в гараже. Их смазывали, показывали гостям колхоза, а чтобы картошку убирать, вызывали из города студентов-математиков с ведрами и мешками.

Шел я как-то вечером домой в коровник после прогулки по лесу. Вышел из леса на асфальтированную дорогу. Станный звук доносился из тьмы – чав-чав-чав. В ночном лесу много странных звуков. Звук усилился. Остановился. Прислушался.

– Чав-чав-чав...

Попытался разглядеть что-либо в кромешной тьме. Вдруг что-то огромное, страшное, вращающееся появилось на дороге прямо передо мной. У меня ёкнуло сердце – я прыгнул в придорожную канаву. Потом вылез на дорогу и разглядел два удаляющихся зерноуборочных комбайна. Они ехали рядом, занимая обе половины дороги, не включив никакого света, подняв бешено крутящиеся ножи-колеса.

– Ну выпили комбайнеры, ну убили бы, тебе шо, долго жить охота? В прошлом годе Кольке Косому руку оторвали. А три года назад Семёна, что у болота жил, пополам разрезали. А ты жив. Ну и радуйся! – пояснил флегматичный колхозный бригадир в ответ на мою жалобу.

Пришел я тогда в коровник и заметил, что студенты возбуждены. Спросил, в чем дело. Оказалось, за час до моего прихода в коровник ворвался пьяный мужик из деревни. С ружьем. Мужик грозил, что всех москвичей поубивает. Выстрелил. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от головы Клейна. Мужика обезоружили, побили, приезжала милиция.

На следующий день в студентов подло, из-за кустов, бросали камни. Кричали: «Убирайтесь, суки!»

Один камень пробил кому-то голову. Опять вызывали милицию. Раненного студента отправили в Москву. Подобные инциденты продолжались до самого отъезда.

Через пять дней началась работа. Нудная, грязная. Трактор с прицепленным к нему огромным крючком боронил картофельное поле. После него шли студенты. Выковыривали из земли картофелины, бросали их в ведра. Специальная бригада опорожняла ведра в мешки, мешки тащили к машине, загружали их в кузов. От такой работы болела спина. Ломило суставы. От скверной еды у многих болел живот.

Потом зарядил дождь. Студенты начали простужаться, настроение упало. Жизнь казалась бесконечным картофельным полем, которое надо убирать.

– Работай, работай, только не сдохни как собака, – цитировали студенты друг другу популярный тогда фильм «О, счастливчик». Шутка эта оказалась пророчеством. Одна студентка действительно умерла. Прямо на поле. Начальство объявило: «У нее всегда были проблемы с сердцем, условия работы в этой смерти не виноваты».

Труп девушки как-то незаметно увезли, а всем остальным прочли обязательную лекцию по технике безопасности – при полевых работах. Какая-то гадина из университетского начальства хотела застраховаться от судебного преследования.

После работы грязные и потные студенты тупо сидели в коровнике. Душа не было. Это бесило. В деревне не было магазина, а до районного центра было километров тридцать. Студенты покупали у колхозников страшный коричневый самогон. От него можно было ослепнуть или умереть.

Жратва была ужасная. Все, кроме хлеба, молока и картошки, было несъедобно. Студенты пробовали ведрами и мешками поймать зайца, случайно забредшего на поле. Ловили его человек сто, с окрыляющей мыслью о жарком, но не поймали. Заяц прыгал и петлял как будто издеваясь над неумелыми охотниками. Потом смылся в лесу. Пытались воровать гусей, пасущихся недалеко от коровника. Поймали одну птицу. Ощипали. Зажарили. Съели. Но кто-то донес, за гуся пришлось платить. Денег у студентов не было.

В коровнике жило и несколько взрослых. Главным партийным надсмотрщиком был некто Немецкий, доцент-математик. Жгучий брюнет с въедливыми и скучными глазами. Немецкий был личностью известной. Прославился он, однако, не математическим талантом, а кляузами и доносами. По его инициативе заводились персональные дела. С выговором, с занесением, а то и с отчислением из университета. Немецкий был красноречив и многословен. После работы хотелось лечь. Немецкий заставлял всех стоять на линейках и выслушивать длинные нотации. Студенты решили его проучить. Три раза ссали в его постель, один раз даже насрали под одеяло. Немецкий был, разумеется, в бешенстве. Больше всего его злило, что стукачи среди студентов не хотели выдавать зачинщиков. В конце концов он просто уехал и жизнь стала веселее. Остальные педагоги были помягче и в наши дела не лезли. Я любил давать людям клички. Немецкого за его фамилию и лютость прозвал «доктором Геббельсом». Кличка эта привилась. Даже коллеги Немецкого по кафедре звали его так за глаза.

Геббельс делал параллельно с научной и партийную карьеру. Стал партийным боссом нижнего звена. Надвигался какой-то юбилей университета. К юбилею был изготовлен специальный значок. Значок был трех степеней. Золотой, серебряный и бронзовый. Сделаны все три варианта были из дешевого материала. Но покрытие имитировало драгоценные металлы. Значки должны были вручаться лучшим работникам университета. Вроде как медали. По всем бесконечным подразделениям происходили собрания коллективов, выдвигались и обсуждались кандидатуры. Развивались интриги, составлялись заговоры, писались обоснования, почему такому-то нельзя вручать значок, а такому-то можно и нужно... Были и мордобои.

Бумаги отсылались в партком, который и должен был окончательно решить, кому значок, а кому фигу с маслом. И если значок, то какой. Поручили этот последний дележ возглавить Геббельсу. Нельзя въедливым математикам поручать такие дела – тут нужно вдохновение и

отстраненность, а этого всего, так же как и чувства юмора, у Геббельса не было. А была только верность собственной карьере.

Взволнованный Геббельс прибыл на заседание партийной комиссии по распределению значков. Никогда до этого он не был в центре внимания такого большого количества влиятельных людей. Он хотел как лучше. Искренне хотел справедливо распределить значки. Даже идиот знает, что это невозможно. Что бредовая идея может быть только еще более бредово воплощена. Геббельс этого не знал и пытался применять в распределении значков научные критерии. Разработал систему положительных и отрицательных баллов. Которые должен был получить каждый кандидат на значок. Например, если кандидат – профессор, то он получает тридцать баллов, если при этом член партии – то еще тридцать, но если на него наложено в последний год партийное взыскание, то он штрафруется десятью отрицательными баллами... Геббельс и его команда проделали все это с шестью тысячами кандидатур. С помощью компьютера, конечно. Напечатали списки. Геббельс приволок их на заседание и не без гордости выложил на стол. Больше всех баллов получил ректор университета. Меньше всех – проворовавшаяся мойщица посуды в университетской столовой.

Члены комиссии были неприятно удивлены. Они хотели распределять все тоталитарно-волонтарно, а этот чертов математик придумал какие-то баллы. Начались прения. Участникам заседания было наплевать на всю математическую дребедень – им нужно было добиться, чтобы их люди получили значки, а не их – не получили. Начались споры и угрозы. Сговоры и измены. Мужчины переходили на крик, женщины – на визг. Старший преподаватель марксистско-ленинской философии Кислица периодически ябедничала комиссии: «А она живет с ним!»

На это ей отвечали мужчины: «А вы, что, завидуете?» И гоготали. Все это продолжалось четверо суток. Почти без перерывов.

В конце четвертого дня Геббельс сошел с ума. В клиническом смысле слова. Его к тому времени уже никто не слушал, все спорили, а когда он пытался что-то вставить – только махали на него рукой. Мол, заткнись, математик гребанный.

Геббельс вдруг громко и истошно закричал, подбежал к картонным ящикам, стоящим рядом с большим круглым столом, за которым сидели спорящие, погрузил обе руки в груды золотых значков. Потом бросил их вверх наподобие фейерверка. Безумными глазами посмотрел на их полет. После того как значки упали на пол, принялся яростно затаптывать их ногами. При этом повторял: «Она живет с ним, она живет с ним...»

Его связали. Увезли в дурдом. Оттуда он не вернулся. Умер там от инсульта. Было ему всего тридцать восемь лет. А комиссия, состоящая из старых партийных зубров, заседала еще два дня. И никто не умер.

Где теперь валяются эти значки? Один я купил на память за доллар на Арбате. Спросил у продавца: «Это что, медаль или орден?»

Тот ответил: «Да нет. Это просто значок... к юбилею какому-то выпустили. Дешёвка».

Спрут

(рассказ постаревшей нимфоманки)

Помните, Антон, что так мучило булгаковского Мастера? Его одиночество и противостоящие ему в Совдепии тотальные силы зла воплотились в мерзчайшего спрута с длинными и холодными щупальцами, которого он безумно боялся, который его всюду преследовал, и особенно – в темноте. Репрессивный аппарат озверевшего государства, десятки миллионов его добровольных помощников – доносчиков, охранников и палачей и еще десятки миллионов на все готовых, чтобы выжить, трясущихся в своих коммуналках совков – чем не спрут? По сравнению с этим, советским спрутом, вонючий лавкрафтовский Ктулху кажется аквариумной рыбкой.

Мой, индивидуальный спрут ничего общего с этим кошмаром не имеет. Даже и не знаю, проклятие ли это или, наоборот, одна из опор бытия. Послушайте мой короткий рассказ, может пригодится для писанины, а нет – так посмейтесь над старухой... Вместо того, чтобы внуков нянчить и о болячках рассказывать, занялась бабуля эротическими воспоминаниями. Впала в детство. Все старухи – мешки, наполненные глаголами прошедшего времени. Потерпите.

...

Если бы Гумберт Гумберт посмотрел на меня, восьмилетнюю, он бы сразу признал во мне нимфетку. Ножки точеные, тело вытянутое, бодрое, эластичное, мордочка подвижная, черные кудри до пупка... кожа свежая, чуть смуглая, губы полные алые, сосочки – нежно розовые... чувствительная как ласточка, не трусливая, не жеманная... Ребенок-демон. Тогда, впрочем, я и себя и других вовсе не понимала... считала себя дурнушкой за курносый нос и широкие ногти.

Вышеприведенный словесный автопортрет я составила по своим детским фотографиям. Недавно альбом нашла, думала, он потерялся. Хотелось на себя как бы со стороны посмотреть. Через увеличительное стекло времени. Уж лучше бы и не смотрела.

Во дворе нашей пятиэтажки на Вавилова были установлены качели. Я их обожала... и вот, однажды, в жаркий августовский день... помните это странное московское томление перед концом каникул... лето пролетело... до начала занятий еще несколько дней... взрослые уходят на работу, а ты торчишь весь день во дворе и чувствуешь неотвратимо приближающуюся осень... зелень начинает желтеть... дома и деревья как будто в обмороке... все готово перевернуться с ног на голову... но не переворачивается... и детское одиночество мучает зверски и предчувствие будущей взрослой жизни потихоньку наваливается как великан на фарфоровую куколку и дробит, дробит твои косточки... и тянет взлететь на воздух... но что-то нам всегда мешает... усталость рода человеческого... и мы так и проводим здоровую половину жизни в розовом тумане несбывшихся надежд, а вторую – в жестяном пальто и в свинцовых сапогах старости. В корчах и муках.

Мама ушла на работу, сказала, что прибежит в обеденный перерыв, накормит меня и опять уйдет... надела мне торжественно на шею ключ на ленточке и запретила уходить – дальше беседок. Это означало, что находиться моему телу разрешалось в прямоугольнике, ограниченном стеной нашего четырехподъездного кирпичика, длинным высоким и глухим забором какого-то закрытого учреждения с противоположной стороны и двумя – беседками по бокам, сталинскими строениями с обрушившимися лестницами, прогнившими скамеечками и остатками здоровенных гипсовых баб, призванных, наверное, олицетворять мощь и красоту советского строя. От этих мегалитов, впрочем, во времена моего детства остались лишь могу-

чие торсы с отбитыми головами и руками, в неприятных их недрах скапливалась дождевая вода и всякая дрянь, там жили сколопендры, которых дети очень боялись.

Проводив маму до одной из беседок и вдоволь напрыгавшись на ее пыльной лестнице, я побежала к качелям. Там уже качались две девочки – веселая энергичная толстушка Ирма, родом из Прибалтики, из соседнего двора, и худенькая, застенчивая, но себе на уме, Светлана, моя соседка по подъезду, дружба с которой так и не завязалась, несмотря на все попытки наших мам-одиночек нас подружить. Ирма была на два года меня старше и заслуженно считала и меня и Светлану малышкой, с которой стыдно иметь дело. Обменявшись парой пустых слов с Светланой и кивнув Ирме (никакой реакции с ее стороны), я залезла на теплое деревянное сидение, оттолкнулась ногами и принялась сосредоточенно раскачиваться... через минуту я догнала и перегнала по высоте осторожную Светлану... догнать Ирму было труднее... тем более, что она тут же заметила мой порыв и, не изменив никак выражение чуть деревянного, как будто припудренного янтарной пылью лица, начала качаться мощнее и выше, чем до моего прихода.

Короткие наши юбочки задирались на грудь.

Старые качели отчаянно скрипели.

Песок под ногами улетал вниз и назад и его место занимало звенящее в августовском мнении коричневатое московское небо... воздух сек и ласкал щеки... мир качался, качался, качался.

...

Между качелями и домом росли липы. Высотой с наш дом. Под одной из них, в тени, рядом с изрезанным ножом стволом, стоял мужчина. В длинном, темно-бежевом плаще, наброшенном на плечи, но запахнутом. Поначалу я его и не заметила. Потом заметила, но как-то не восприняла... а он пристально смотрел на нас... переводил воспаленный взгляд с одной на другую... пожирал глазами наши ручки, грудки, ножки, обнажающиеся в движении до трусиков. Да, он пялился на нас и делал что-то рукой под плащом... тогда я и понятия не имела, что.

Все эти взрослые слова иностранные «экзгибиционизм», «онанизм», «мастурбация» и доморощенное «рукоблудие» были маленьким московским девочкам середины шестидесятых неизвестны. Честно говоря, я в свои восемь лет даже не знала, что мужчины имеют член, а короткое грубое матерное слово – воспринимала как некую абстракцию, несколько даже космического характера (как бы – Марс), так же как и длинное неприличное женское слово. Только в главном русском непечатном глаголе мерещилось мне какое-то содержание... неприятное... садистское. Вроде – бил твою мать.

Да, слова в моем лексиконе не было, но процесс, описываемый этим словом, происходил на моих глазах. Возбуждись от вида наших мелькающих перед ним голых ножек и дополнительно возбуждив себя механически, мужчина в плаще заметил мой недоуменный взгляд смущенной нимфетки... и это, по-видимому, разожгло его и заставило сделать несколько шагов в сторону качелей и резко распахнуть плащ. Под плащом он был голый. Поневоле я взглянула туда.

Пах мужчины зарос курчавыми рыжими волосами. Его член, показавшийся мне похожим на мягкую игрушечную пушку, выстреливал в мою сторону белыми струйками. Я отвела глаза. Краем глаза увидела, что Светлана уверенно соскочила с качелей и побежала к нашему подъезду. Ирма же продолжала качаться и, казалось, вовсе не замечала навязчивой фигуры, похожей на дергающуюся летучую мышь. Потом выяснилось, что так оно и было – Ирма была страшно близорука, но стеснялась этого и не носила на улице очки.

После разрядки, мужчина серьёзно посмотрел на меня своими зелеными глазами, усмехнулся чему-то, запахнулся и покинул наш двор.

Да, Антоша, забыла упомянуть важную подробность. Метрах в трехстах от нашего дома, на улице Ферсмана, тогда работала – «Березка». Помните, что это были за магазины? Да, да, валютные, для номенклатуры. На витрине ее ничего не было, кроме длиннющей розовой гир-

лянды на фоне панорамной фотографии Москвы, которая глупо мигала. Я так внутри и не побывала до самого отъезда из СССР. Не было у нас валюты. Рядом с «Березкой» дежурили милиционеры.

Так вот, мужчина в плаще покинул наш двор, а потом, минут через пять, я вдруг услышала милицейский свист, отчаянные крики и топот. Затем все стихло. Я пошла домой и заперлась там на цепочку. Мать пришла через два часа, не смогла войти и кричала на меня. Только мы сели обедать... позвонила милиция. Милиционеры расспрашивали меня о мужчине в плаще, а я как могла описала его и то, что видела...

Оказывается, неудачливого эксгибициониста арестовали метрах в ста от нашего дома. Светлана была к тому, что произошло на наших глазах, подготовлена. Она пришла домой и тут же позвонила матери, работавшей в Министерстве иностранных дел. Та – в милицию. Милиция оказывается на этого человека давно охотилась. Они по рации уведомили своих людей у – «Березки» и те подкатили на мотоцикле, а наш плащ на свою беду зашел в молочный, в котором глазурированные сырки продавались, полакомиться хотел после оргазма, понимаю... Ну, его и сцапали.

Но это все не важно. Меня этот человек не испугал, испугала меня милиция и моя нервная мамочка, царство ей небесное, устроившая вечером жестокую истерику и говорившая со мной так, как будто я была в чем-то виновата... меня эксгибиционист поразил, озадачил... и совратил.

Да, совратил.

Несколько дней, впрочем, все было нормально. Я пошла во второй класс, началась учеба, новые предметы давались мне нелегко... Училась я хорошо, но меня отвлекали разные мысли и чувства... а затем... сентябрьским вечером... засыпая на своей кровати... я вдруг увидела эти зеленые глаза прямо на стене. Они сосредоточенно смотрели на меня. А вся моя промежность как будто превратилась в спрута. В жадного, хищного... мечтающего только о том, чтобы в него вошел большой горячий член. И с тех пор нет мне покоя.

Летающий мертвец

Всякий раз, когда я хочу тебя утешить, мой дорогой друг, вспоминаю одну картинку из детства. Нарисовалась она в центре Москвы, на Кузнецком Мосту. В середине шестидесятых годов...

Слякотная была зима. Холодная, ветреная, с гнилыми оттепелями. Помню, все мечтали о крепком сухом морозце с солнышком. Но в городе было пасмурно и сыро, дул пронизывающий ветер, а с тяжелого пластилинового неба то и дело сыпалась колющая щеки снежная крупа попеременно с острыми, ледяными капельками зимнего дождя. Москвичи обвиняли во всем недавно вырытые вокруг столицы водохранилища.

Шел я по Кузнецкому с моим отчимом, что-то мы хотели там купить канцелярское или книжное, не помню уже что. И вдруг видим, толпа небольшая собралась вокруг лежащего на грязной коричневой снежной каше мужчины с багрово-синим окровавленным лицом.

Зрители, как и полагается, в темных бесформенных пальто советского покроя, в мокрых кроликовых шапках с ушами, на мордасах – типичное совковое выражение, приличными словами вовсе не передаваемое.

Это чёё? Мертвый что-ля? Ну ни хуууя!!! Скутузило, бля, мужика по полной!

Все на лежащего уставились, как будто он бриллиантовый-самоцветный, но никто ничего не делал. Только один мужчина его ботинком пнул. Брезгливо так... отстраненно... мол, мне-то что? Мне – ничего. Лежи себе...

Скорую никто не вызвал. На женских лицах ни следа сострадания не видно, на мужских – только тупое удовлетворение. Удовольствие даже от чужого несчастья.

И вот вижу... сквозь толпу старушка какая-то сердобольная к лежащему пробивается. На голове – шляпка с потертой шелковой розочкой и синей вуалью, в руках – сумочка старомодная, глаза – добрые, подслеповатые, носик точеный, породистый, руки – в узеньких перчатках. Пробилась и давай пульс искать на его грязной лапе. Потом достала из сумочки цилиндрик валидола, свинтила ему крышечку и таблеточку в рот пострадавшему всунула... под язык.

Лежащий на асфальте поначалу и не отреагировал никак. Зрители подумали – и вправду помер. Закивали удовлетворенно. Но тут он шевельнул своим отекившим багровым веком и открыл ужасный правый глаз. Толпа охнула и затаила дыхание...

Глаз этот прошелся яростным взглядом по толпе зевак, быстро обнаружил сердобольную старушку и тут же налился кровью, как гребешок боевого петуха. Мне показалось, что глаз начал стрелять в старушку разрывными пулями.

Зашевелились и его опухшие синие губы. Так, как будто они не принадлежали своему владельцу, а действовали самостоятельно. Мы услышали что-то вроде: «Оша йу тарай жыка... траить хошш сско чка ука...»

Мой быстро соображающий отчим засмеялся первый.

А через полминуты гоготали все, а мужик на асфальте громко и вполне внятно хрипел: «Пошла нах, старая жидовка! Отравить хочешь русского человека, сука?!»

Лежащий выплюнул таблетку валидола и, несмотря на то, что был мертвецки пьян, ухитрился-таки лягнуть старушку нечистым своим ботинком в бок. После этого, как и был, лежа, достал из кармана пальто папиросу, всунул в угол рта, чиркнул спичкой и закурил.

А старушка схватилась за сердце... уронила сумочку и шляпку на грязный снег... розочка оторвалась и укатилась куда-то, вуалька сбилась неприятным клоком... ветер растрепал ее седые волосы... по морщинистым щекам покатились слезы.

Она подобрала шляпку и сумочку трясущейся рукой и, все еще держась за сердце и тихо постанывая, протиснулась через толпу и похромала в сторону Рождественки.

Толпа отреагировала на уход вуалевой старушки брезгливыми гримасами и злорадными восклицаниями.

Странная штука – воспоминания. Написал про лежащего на асфальте пьяного и про пожалевшую его старушку, – и тут же в голову против воли втиснулся другой, уже не мнимый, а настоящий покойник, лежащий на московском асфальте.

Случилось это уже в семидесятых, я был гордым студентом МГУ и быстро шел по улице Димитрова (ныне опять по-старинному – Большая Якиманка) от Октябрьской площади, мимо французского посольства к букинистическому магазину, что был на набережной, напротив Ударника, в доме, который снесли позже новые хозяева города. Не могу утверждать, что их предшественники, планировщики сталинско-брежневской Москвы, были лучше ельцинских – при них Москва потеряла половину своих романтических урбанических островков и украсилась тысячами уродливых коробок, но последние строят из себя русских патриотов, восстанавливают церкви, старые названия... но на самом деле являются такими же безмозглыми и наглыми варварами как и их предшественники – коммуняки... их город и Москвой-то назвать нельзя... столица паханата... Пуйловск... тьфу, тьфу на него тысячу раз!

Да, лето, жаркий московский вечер, я спешу в магазин, в котором хочу купить том Гоголя с «Выбранными местами» дореволюционного издания... знакомый продавец, декадент и стилиага, позвонил мне и предупредил, что если я до семи не выкуплю книгу, то он отдаст ее другим соискателям, из которых выстроилась уже длинная очередь.

– Уйдет, уйдет книга прямо из твоих потных ладоней, – твердил стилиага, и я знал, что он на другом конце провода скалится гадко, показывает телефонной трубке свои гнилые зубы.

Книга эта имела тогда среди нас, не уехавших и не собиравшихся уезжать набитых дураков с претензиями, заигрывавших с гонимым еще православием, культовый статус. «Выбранные места» представлялись мне, именно в силу своей базальтовой недоступности, самой интересной, загадочной работой автора «Мертвых душ». Запретный плод сладок... но быстро теряет вкус!

Книги, картины, архитектурные шедевры, женщины, заморские страны, чудеса природы... разочаровывают нас, как только перестают быть недоступными... лучше было бы им навсегда остаться запретными плодами... и служить недостижимыми целями нашей бессмысленной беготни... маяками в наших бесплодных странствиях. Но нет, мы получаем все, что хотим, наслаждаемся всеми наслаждениями, о которых иступленно мечтали, за которые были готовы отдать жизнь... и мы отбрасываем без сожаления муторные книги, забываем мертвые картины и дурацкие постройки тиранов или фанатиков, бросаем любимых женщин в погоне за первой попавшейся юбкой, с удовольствием покидаем осточертевшие нам города и страны и плюем на природные красоты. Узнали бы мы близко Спасителя или самого Создателя Вселенной – и уже через пару часов начали бы зевать и проситься к дьяволу. Наши разочарование, сплин, меланхолия – испепелили бы и само Солнце, если бы нас близко к нему допустили.

...

Я шел тогда как раз мимо церкви Иоанна война, доброго солдата карательных войск Юлиана Отступника. Прохода к ней с улицы кажется не было, но луковки были видны и с Димитрова. Церковь эту, еще не отреставрированную и не такую вульгарно-пеструю как сейчас, я часто рисовал зимой и любил ее благородный ступенчатый силуэт. Чего ни бывает? Изображал я ее в стиле Эдварда Мунка. Моя Иоанн воин кричал о моем московском отчаянии громче норвежской девушки на мосту.

Ну так вот, шел я по тротуару на Димитрова, чуть не бежал... бодро кидая колени вперед и вдыхая выхлопные газы... автомобильное движение по этой, тогда еще не расширенной, двухполосной улице было сумасшедшее, ведь Ленинский проспект вливался в нее, как Волга в Москву-реку.

И вдруг, как будто почувствовав, что сейчас произойдет что-то ужасное, я уставился на притормозивший впереди меня автобус пазик. И тут же из-за его кабины на дорогу вышел шатающийся пьяный мужчина и попытался перейти улицу. И в тот же момент его сбил набитый под завязку пассажирами городской автобус 144-го маршрута, обгонявший пазик по встречной полосе.

Я видел и слышал, как 144-й ударил пьяного. Это был страшный удар. С зловещим треском и скрежетом... всхлипом и чмоком... как будто лежащую на наковальне конскую тушу ударил мясник-великан трехметровым медным молотком.

Бедняга пролетел метров тридцать и приземлился уже не человеком, а измятой, изодранной куклой с расщепленными костями. Ботинки его улетели как грачи метров на двадцать дальше тела. А окровавленная его кепка, упала, возвратясь как бумеранг, прямо мне под ноги.

Я ощутил, как время убийственно замедляется. Оно почти остановилось в тот момент, когда произошло столкновение автобуса с человеческим телом. А потом медленно-медленно начало ускоряться. Я наблюдал полет мертвеца, как мне показалось, минуты три, хотя в реальности это были секунды.

Я поднял кепку и кинулся к телефонной будке. Говорил со скорой как будто не я. Бросил трубку и побежал к телу, чтобы положить кепку рядом с ним. Почему-то мне казалось это чрезвычайно важным делом. Мертвец лежал чудовищно неправильно. Руки и ноги его не были соединены суставами с туловищем, их удерживала только кожа и одежда. Голова с выбитыми, висящими на веревочках глазами, покоилась на его колене. Кто-то уже положил рядом с ним его ботинки.

Тело умершего, нелепо размахивая руками, закрывал собой шофер 144-0. Он истошно кричал сходящимся со всех сторон зевакам: «Не смотрите, не смотрите!»

Скорее всего, он был лимитчиком, судя по акценту – азербайджанцем. И вне себя он был не только из-за того, что на глазах множества свидетелей нарушил правила движения и убил человека, но и потому, что разрушил этим свое будущее. Рухнули его надежды на комнату или квартиру в Москве, на то, что сможет наконец привезти сюда семью и попытаться поместить хронически больную мать, от которой давно отказались гардабанские врачи, в московскую клинику.

Подъехала скорая. Врач, тридцатилетний усталый брюнет с бородкой, бросил только один взгляд на тело и тут же тихо приказал двум дюжим санитарам: «Грузите... везем в морг».

Вторая скорая забрала шофера 144-0. Он рыдал, рвал на себе одежду и продолжал кричать: «Не смотрите, не смотрите...»

Два милиционера начали лениво разгонять народ. Один из них посмотрел на меня провинциально-укоризненно, ткнул кулаком в плечо и сказал: «Ну ты, что встал, сказали ведь всем, расходитесь, нечего тут смотреть!»

Пазик уехал, 144-й остался на Димитрова. Мне расхотелось идти в букинист и покупать книгу Гоголя. Произошедшее на моих глазах несчастье показало мне истинную реальность мира, в котором я живу. Я понял, что отныне буду смотреть на все глазами того летящего мертвеца. Многие важные для других людей вещи и понятия тут же и навсегда потеряли для меня ценность и смысл. Я прошел к набережной и до полуночи гулял вдоль Москвы-реки.

Гинеколог

Поехал я по институтским делам в Челябинск. Встретился с кем-то, что-то обсудил...

А перед тем, как улететь в Москву, заехал на два дня в Златоуст, навестил старых знакомых моих родителей, передал им два килограмма сыра, продукта, почему-то несовместимого с советским строем. Меня во время этой командировки так интенсивно поили фруктовой настойкой и так усердно кормили уральскими пирогами и пельменями, что от всей поездки осталось в голове только воспоминание об этих самых пирогах (неприлично большого размера и удивительного вкуса) и о страшной головной боли после перепоя по пути из зеленеющего уже Челябинска в заснеженный еще Златоуст на автобусе.

И еще одна маленькая история, которую мне рассказал бывший одноклассник моего отца Арик.

Пошли мы с ним в местный центральный гастроном покупать водку. Время еще было догорбачевское, водки и другого спиртного в промышленном Златоусте – прорва. Купили сколько-то бутылок шнапса и винца взяли для отвязки и полировки, но домой не пошли, а остались на площади рядом с каким-то большим старым домом с кремовым фасадом. Решили по полстаканчика раздавить прямо тут, на бодром майском солнышке, на холодке. Пили, смотрели на хребет Большого Таганая, похожий на спину доисторического ящера, закусывали сухарями.

Тут к нам один белокурый такой мужичок-алконавт подошел, со своим граненым стаканчиком, поздоровался с Ариком, попросил выпить. Мы ему налили. Он выпил и – к моему искреннему удивлению – расплакался и начал что-то возбужденно рассказывать. Он так всхлипывал и стонал, что я ни слова понять не смог.

Арик показал мне глазами, что надо уходить. А дома, под пельмени и холодную водочку поведал мне о горькой судьбе этого человека, прозванного в златоустовском народе – гинекологом.

Оказывается, звали алконавта Ваней, и он тоже был одноклассником Арика и моего отца. Способный, прилежный, дисциплинированный и очень наивный мальчик. Хороший и добрый товарищ. После школы закончил Ваня какой-то уральский технический институт и приехал в родной Златоуст работать инженером на ЗЛАТМАШе или на каком-то другом заводе.

Да... а еще до института влюбился он в девочку из параллельного класса, прелестную Эльзочку. И она ответила ему взаимностью. И поклялись они быть друг другу верны и пожениться сразу после окончания институтов. Эльза училась где-то далеко от Урала, кажется на Украине. За время учения виделись они всего несколько раз и обнимались, и заливались слезами, и клялись в вечной любви у памятника металлургу Аносову.

Так уж получилось, что Эльза закончила свой экономический институт на полгода раньше Вани. Приехала в Златоуст и устроилась на тот самый завод, на который позже пришел работать и Ваня. И как-то удивительно быстро сделала там карьеру. Ваню взяли инженером, а Эльзочка уже трудилась в аппарате управления. Счастливые молодожены сыграли свадьбу в ресторане. А в брачную ночь произошла неприятность. Цирк. Хорошо еще без членовредительства.

На следующий день Ванечка, как говорили, растрепанный и одуревший направился прямо в златоустовский народный суд... устроил там скандал, а при попытке его успокоить, распустил руки и страшно кричал и рыдал, в конце концов был забран милицией и получил свои первые пятнадцать суток. Буйствовать после заключения не перестал, пытался пробиться к директору завода, устроил драку и дикую сцену на улице...

В общем, пропал парень... был уволен, развелся, опустил, забичевал.

Причиной всех его злоключений стала, и он этого не скрывал, а наоборот, кричал об этом на всех перекрестках... отсутствующая девственная плева или, выражаясь более консервативно, поруганная невинность его избранницы.

Да, в первую брачную ночь выяснилось, что Эльзочка вовсе не девушка... мало того, она уже и аборт успела сделать. И злые языки говорили, что не один и не два... Другой бы обрадовался, что не ему придется пещерку рыть, ну или, посетовал бы, вздохнул, да и простил любимой... и смыл бы горячей любовью все, что было до него.

Любой, но не Ваня-гинеколог. Отчасти виновата была в этом и прелестная Эльза. Она в ту злосчастную ночь, когда ее муж обнаружил пропажу и принялся голосить, расплакалась и соврала ему, что ее совратил или даже изнасиловал директор их завода, Михал Иванович такой-то. И ненависть, и бешенство, и обида Вани обратились не на жену, а на начальство. Ваня побежал в суд, жаловаться на Михал Ивановича.

Директор завода, помогший своей юной пассии в карьерном продвижении, никак не мог понять, чего же хочет от него этот взбесившийся молодой инженер. А потом испугался... набрал номер милиции, поговорил с начальником отделения и Ваню первый раз избили... потом посадили.

Ваня ездил жаловаться в Челябинск и в Белокаменную. Ему казалось, что перед ним встала страшная свинцовая матрешка. Он ее наклоняет из последних сил, а она упрямо встает. И ухмыляется. Написал даже в СЭВ и ООН. Побывал, и не раз, в лагере и в дурдоме...

В заключение Арик сообщил, что Ваня судится с кем-то по – гинекологическому делу до сих пор.

Кипарисы

Каждый раз, когда ехал в Крым, просыпался ни свет ни заря на своей верхней полке, припорошенной угольной пылью, – и жадно смотрел в окно. Страстно хотел поскорее увидеть первые вестники юга – кипарисы. И вот, на длинном хребте мчащегося вместе с нашим поездом пологого холма выстраивалась вдруг шеренга молодых великанов, гордо вознесших к небу свои, покрытые негритянскими курчавыми волосами ветки. На душе у меня сразу теплело.

Московский бетонный горловой зажим ослабевал...

От предчувствия счастья – встречи с морем, с Ласточкиным гнездом, с Ай-Петри, с черешней и шелковицей – сосало под ложечкой. Только когда мне исполнилось шестнадцать, я понял, что это были не кипарисы, а пирамидальные тополя.

Говорят, однажды Сталин, находясь на даче в Ливадии, испугался, что с кипарисов кто-то в него выстрелит. Комар его укусил, который, как он полагал, живет в кипарисе. И вообще, кипарисы, часто растущие на кладбищах, вызвали у него неприятные мысли. И на южном берегу Крыма вырубili около семидесяти пяти тысяч этих прекрасных деревьев.

...

Витеньке было шесть лет, когда он впервые увидел горы и море.

Они ехали из Симферополя в Ялту на старой Волге с поджавшим передние ноги серебряным оленем на капоте. Витенька сидел на переднем сидении, рядом с шофером, бабушка – на заднем.

Ему казалось тогда, что пространство сродни его детскому времени – тягучему, липкому потоку – и не может вести себя как плещущаяся теплая водичка в ванной. Но километрах в пяти от Симферополя пластающаяся обычно по горизонтали плоть земли начала вдруг вздыматься, волноваться. Опускаться балками, лощинами и подниматься горбами холмов, скалистыми грядами.

У памятника Кутузову, который задумывался как фонтан, но был сух, как испорченный водопровод, они сделали короткий привал. Бабушка очистила от растрескавшейся желтоватой скорлупы куриное яйцо и наказала Витеньке съесть его с бежевым крымским хлебом и кружком жирной украинской колбасы. Но он не мог есть из-за волнения, пища застревала в горле. Витенька ждал появления моря.

И вот, где-то между загадочными каменными пальцами Демерджи и прячущимся за кустами Чатыр-Дагом он увидел впереди что-то ослепительно, потрясающе синее. Оно то появлялось, то исчезало за деревьями и скалами. Витенька не понимал, что это, реальность или видение.

Москва серая, асфальтовая. Подмосковье – блекло зеленое, березово-белое. А тут вдруг такая невероятная, режущая глаза, беспощадная синева! Через несколько поворотов дороги море вдруг открылось перед ним во всей роскоши своего пылающего простираия. У Витеньки захватило дух.

Когда они проезжали Кипарисное, молчавший до того шофер, восточный мужчина с жгуче-черными усами, всю дорогу куривший сигареты Прима, сказал Витеньке: «Смотри, смотри, малчик, Аю-Даг. Медвед-гора, значит. Апустил морду в море и пьет...»

И тут же откуда-то справа, прямо под колеса Волги, бросилась черная кошка. Шофер инстинктивно дернул руль, машину тряхнуло, и она взлетела как ракета, два раза перевернулась в воздухе вокруг продольной оси и врезалась в растущий на другой стороне дороги кипарис. Обняла его своей жестяной плотью. Шофера раздавило в лепешку. Бабушку поранило, но не убило. А бедного Витеньку вынесло через лопнувшее ветровое стекло и подбросило так высоко, что он смог еще раз в полете насладиться потрясающим видом на сияющую, убегающую к далекому горизонту волшебную синеву, покрасневшую по краям...

Так погиб мой младший брат.

Массандра

Несколько раз они останавливались в гостинице «Массандра», построенной в одноименном парке в конце пятидесятых годов. В то время рядом с ней еще не было гигантского комплекса зданий «Интурист», испоганившего парк и всю восточную Ялту. Южнее гостиницы, на берегу, еще не появилась ужасная трапецеидальная бетонная коробка, а маленькая церковка святого Николая, построенная в начале двадцатого века добреньким царем для санатория матросов-туберкулезников, стояла без купола, побитая и изгаженная.

Советская Ялта отдыхала вовсю. На городских пляжах не было свободных мест. Морская вода воняла мочой. Вечерами отдыхающие танцевали и выпивали тысячи бутылок белого и розового Муската. Огромным спросом пользовалось полусладкое Крымское шампанское.

Из открытых окон пансионатов и санаториев доносились слова популярных песен: «Расскажи-ка мне дружок, что такое Манжерок... Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никогда никому не скажу... Раз-два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать, славная милая смешная Енька нас приглашает тан-це-вать...»

Дорога к морю проходила рядом с Домом Актера. Алик и бабушка видели там однажды Райкина. Он производил впечатление неприветливого, раздражительного человека. Бабушка помахала ему рукой в старой белой шелковой перчатке, послала воздушный поцелуй и крикнула: «Привет, Райкин! Браво-брависсимо!»

А народный артист РСФСР скорчил в ответ брюзгливую мину и, опустив глаза, в которых мерцала самодовольная наглость успешного советского шута, демонстративно отвернулся и тут же бесшумно исчез.

Ходили они и в Массандровский парк. Гуляли по аллеям, любовались на экзотические растения, доходили до заросшего кувшинками прудика, в котором когда-то плавали золотые рыбки, и шли назад. Нагулявшись, расстилали в тени дуба или граба узорчатое одеяло, играли в карты, наслаждались ароматом акации, рокотанием прибоя и потрясающим видом на покрытое белоснежными барашками Черное море.

Бабушка читала толстенькую «Неделю». Эту приятно пахнущую типографской краской газету «оставляла» для нее знакомая киоскерша. Бабушка не оставалась в долгу – в каждый приезд дарила киоскерше пачек по пять «Столичных». Киоскерша дома осторожно открывала красно-белые пачки и выкладывала сигареты сушиться на подоконник, а через несколько дней аккуратно засовывала их назад. Курила она эти сигареты только когда к ней в гости приходил ее закадычный дружок Филемон, по национальности грек, носивший элегантную соломенную шляпу и тросточку из бамбука, тоже киоскер, только с Набережной имени Ленина, и потому много о себе понимавший и относившийся к массандровской киоскерше несколько свысока. Филемон неизменно приносил с собой бутылку «Черного Муската» и коробочку мармелада. Киоскерша жарила в крохотном дворике шашлык. А после ухода Филемона каждый раз горько плакала.

Бабушка читала «Неделю», потому что «там нет политики и есть про Москву, про театры, артистов и кино». Почитав минут десять, она закрывала глаза и засыпала, и могла запросто проспять часа три. Спала она, впрочем, не глубоко, никогда, даже во сне, не забывала о своей роли няньки-охранительницы, часто просыпалась и закрывала глаза только удостоверившись в том, что Алик – не делает глупости, как все мальчишки, а мирно играет в солдатики, собирает цветочки или ловит бабочек большим зеленым сачком. Бабочек этих Алик, мальчик незлобивый, рассмотрев в лупу и показав бабушке, отпускал на волю (только крылышки иногда отрывал).

...

Однажды погнался Алик за бабочкой. За обыкновенной, репейницей. Толстой, мохнатой, оранжевой, с белыми пятнышками на темных концах крыльев, усыпанной золотой пылью. Репейница сидела на березке. Щупала что-то хоботком. Алик подкрался, занес сачок, хоппп... сачок распорол воздух как сверхзвуковой самолет, но бабочка улетела, упорхнула в последний момент... и понеслась широкими размахами, туда-сюда, как будто находилась на концах крыльев огромной невидимой птицы. Алик побежал за ней... она села на алый цветок мака (бабушка говорила ему – не нюхай маков цвет, заснешь и не проснешься)... он подкрался... в немыслимом броске уже было достал ее, но... поскользнулся, растянулся, да еще умудрился хрястнуться подбородком о вылезший жгутом из земли, твердый как мрамор корень.

Очнулся Алик не на земле. Поначалу и не понял ничего. А потом, когда понял, хотел встать и убежать, но его удержали сильные руки незнакомой ему рыжей женщины, у которой он – непонятно почему – лежал на коленях. Она сидела на траве, прислонясь спиной к трем перекрученным стволам тамариска. Босоногая эта женщина была одета в длинную голубую рубашу, под которой, и Алик сразу заметил это, колыхались, как две боксерские груши, свободные от лифчика, матовые груди. Длинные вьющиеся рыжие волосы падали ей на широкие полные плечи. В верхнюю петлю ее рубахи был продет лилово-синий цветок чертополоха. Одной рукой она крепко держала Алика за талию, а другой гладила ему голову. И причитала.

– Милый мой, не бойся, маленький мальчик, красавец, кудрявенький пастушок, ты удрался, но все пройдет, улетит бо-бо в небо, как твоя золотая бабочка, полежи, подыши, отдохни, красный камень полижи, боль сойдет-пройдет, соси, соси мою сисю, мальчик!

Она растянула рубашку, вынула грудь и сунула Алику в рот большой розовый сосок.

И он повиновался ей и принялся сосать... и ее молоко показалось ему божественно вкусным, сладким, как привезенная отцом из Самарканда халва. И боль прошла. И он заснул у нее на коленях.

Разбудила Алика бабушка, он лежал на их одеяле, а во рту у него почему-то был цветок чертополоха. Алик чертополох тотчас отшвырнул, вскочил, осмотрелся.

– Бабуль, а где эта тетка, в голубой рубашке?

– Какая такая тетка? Ты что это еще придумал, сорванец? Ты прибежал с четверть часа назад, сказал, что устал, и прилег. Никого тут не было, только глухонемой с матерью мимо прошли, но я им знаками показала, спит мол... не тревожьте... наверное, в сторону Сталинской дачи пошли, только ведь не пустят их туда. Слуги народа... Я тебе не рассказывала, а я ведь тут бывала, когда во дворце еще туберкулезный санаторий был. Завели меня туда, а там все с открытой формой. Ох, и дура твоя бабушка. Потом всех больных оттуда поганой метлой погнали. Ирод проклятый...

...

С глухонемым мальчиком и его доброй заботливой мамой они познакомились примерно за неделю до этого. Сидели в Массандровском парке на одеяле и карточные домики строили. Вдруг услышали какой-то гул, как будто самолет летит, и тут же из-за ближайших кустов вылетел небольшой игрушечный вертолет, покругил над нами, задел за ветку и упал прямо на одеяло. Алик взял его в руки, повертел, рассмотрел... таких дорогих игрушек у него отродясь не водилось. Тут из-за тех же кустов выскочил худенький печальный мальчик и бросился к Алику. Выхватил вертолетик у него из рук, прижал его к груди, отбежал шагов на пять, выпучил неестественно глаза, из которых брызнули слезы, крупные как хрустальные висюльки на бабушкиной люстре, упал, распластался на земле и стал корчиться, биться и гортанно мычать. Мычание это было невыносимо... как будто дьявол стонет и хохочет.

Видавшая виды бабушка, подумала, что у мальчика случился припадок эпилепсии и хотела было открыть ему рот и зажать ему между зубов колоду карт (первое, что попало под руку), чтобы не откусил себе язык и не задохнулся. Но тут подбежала запыхавшаяся мать мальчика, полная блондинка с янтарным ожерельем на дебелий груди и янтарным же браслетом

на пухлой ручке (на другой ее руке поблескивали золотые часики), мягко оттеснила бабушку телом от сына и сказала: «Ничего, ничего, спасибо, не надо ничего делать, припадок пройдет сам, это не эпилепсия, Марик просто испугался, подумал, что его игрушку у него забрали... через пять минут он встанет... Марик глухонемой, воспринимает мир не так, как другие... разрешите представиться... Мери Гдальевна».

Марик поднялся уже через минуту, убедился, что вертолетик у него и в порядке, тут же завел его, пустил и побежал за ним. Мери Гдальевна осторожно присела на край одеяла и рассказала о сыне.

– Слух он потерял из-за осложнения после кори, когда ему еще и двух годочков не было. Здоровый был мальчик и смывленный. Начал говорить. А тут корь... Несколько лет пришлось потратить на лечение осложнений. Мальчик в свои восемь лет так и не понял, что с ним произошло, к контактам с другими детьми практически не способен. Он их просто не замечает.

Тут Мери Гдальевна виновато посмотрела на Алика.

– Вся его жизнь состоит из повторяющихся ритуалов, которые нельзя нарушать... Марик терпеть не может, когда кто-нибудь чужой как-то вторгается в его сферу... Если бы ты еще раз взял в руки его игрушку, с ним бы опять случился припадок. А во время припадков Марик часто кусает себя за руки, однажды даже зашивать пришлось, – закончила Мери Гдальевна, еще раз виновато посмотрев на Алика. Вытерла мелкий бисер пота на лбу розовым платочком с вышитым на нем дельфинчиком, вздохнула.

– А вы не обращались к московскому профессору П.? Он мировая величина в лечении аутизма, может быть и Марику смог бы помочь, я могу посодействовать.

Бабушка не могла не похвастаться своими связями в московском врачебном мире. Алику стало неловко. Мери Гдальевна вежливо поблагодарила бабушку и побежала за сыном.

Глухонемого и его мать они встречали в Массандре еще несколько раз. Кивали друг другу, бабушка перебрасывалась с Мери Гдальевой парой московских артистических сплетен, вспоминала и других профессоров. Алик строил как мог сочувственную физиономию, мать и сын шли дальше.

Алик действительно сочувствовал Марику, но гораздо острее сочувствия было чувство зависти. Ему ужасно хотелось самому поиграть с вертолетиком, завести его и пустить летать в небо и гоняться за ним по Массандровскому парку.

Алик думал об этом и втыкал и втыкал свой перочинный ножик в небольшую дощечку, лежащую на земле. Фокус состоял в том, чтобы ножик один раз перевернулся в воздухе и расщепил дощечку ровно посередине. Потом нужно было так же расщепить две половинки и так далее, пока на земле не останутся только палочки, шириной в спичку. Алик мог расщепить и спичку и очень гордился этим.

...

Через несколько дней дежурящая в холле гостиницы женщина-администратор, раскрасневшаяся от распирающей ее новости, поведала бабушке, что по окрестностям Массандры рыщет сексуальный маньяк, сбежавший из бахчисарайской лечебницы. Милиция ищет его изо всех сил, но пока не нашла. Перед тем, как удрать из лечебницы, маньяк будто бы изнасиловал молоденькую кассиршу и украл из ее кассы тысячу рублей!

– Изнасиловал кассиршу! Украл тысячу рублей! – повторяла администраторша патетически, закатывая глаза.

И вот теперь злодей разъезжает себе по Крыму и портит мальчиков и девочек. Слава богу, пока никого не убил!

Посоветовала быть осторожной, не отпускать Алика гулять одного и – если что, тут же сообщить ей или в милицию.

Жизнь бабушки и Алика после получения этого известия не изменилась. Бабушка, пережившая войну и эвакуацию, из-за какого-то там «мерзкого шкоды», как она выразилась, при-

вычек менять не хотела. После завтрака они шли на пляж. Пока Алику плавал, бабушка не отрываясь на него смотрела. Потом обедали в столовке, не обращая внимание на то, что тамошняя еда пахла тухлятиной. Затем отдыхали часок у себя в номере и отправлялись в Массандру, искать тень и прохладу.

Так было и в тот день. Они нашли подходящее тенистое место, расстелили одеяло, сыграли раз пять в подкидного... попили теплой кипячёной воды из термоса... съели несколько баранок и карамельных конфеток... бабушка почитала «Неделю» и задремала, предварительно строго указав Алику на границы его игр.

Алику тут же ужасно захотелось эти границы нарушить. Поиграв немного в ножички, он присел на одеяло и начал от скуки листать бабушкину газету... дождался того момента, когда негромкий мирный храп его бабули стал более-менее регулярным, тихонько поднялся и побежал на цыпочках по направлению к колючим зарослям, метрах в ста от их одеяла. Потому что ему показалось, что там, за ними, мелькнула знакомая синяя рубашка. Ему страшно хотелось, чтобы рыжая еще раз показала ему свою грудь. Он представлял себе это каждый день сотни раз и в его паху загорался бенгальский огонь. Тушить его он еще не умел.

Метров за десять до кустарника, он вдруг услышал знакомое мычание. Ага, подумал Алику, значит где-то тут разгуливает этот, глухонемой. О маньяке Алику и думать забыл.

Колючий кустарник был посажен кругом-бубликом. Мычание глухонемого явно доносилось из его пустой середины. Рассмотреть Алику ничего не мог – из-за густой листвы. Обошел вокруг кустарника, нашел узкий лаз и полез по нему, стараясь не шуметь. Так же тихо вылез из зеленого тоннеля... выпрямился, и увидел внутри заросшего густой травой круга привязанного толстой веревкой к дереву Марика. Марик был голый, во рту у него был кляп, его же свернутая в трубку маечка. Бедр его были разведены... Перед ним сидел какой-то тип, наверное, маньяк. Лицо его было на уровне Марикова живота. Что он делал, Алику не понял, но ему показалось, что привязанному к дереву Марику это нравится. В его тихом мычании было что-то от томного кошачьего урчания.

И тут как будто хлопушка взорвалась в голове у Алики. Все вдруг изменилось.

Как же он раньше не догадался! Не было тут никакого маньяка. Это она, та, рыжая красавица, ласкала глухонемого. Обнимала его, гладила, целовала его грудь и живот. А Марик смотрел во все глаза на ее обнаженную грудь, трущуюся о его колени, и страстно мяукал. Бешеная ревность ужалила Алику в сердце.

Бабушка трясла его за плечи.

– Просыпайся, просыпайся, сынок! Домой пора! Тут милиционеры приходили, Марика искали, пропал! Мать убивается. Как ее... Гдальевна с янтарями... Ее в соседнем корпусе, в кабинете медсестры, валерианкой отпаивают. А ты спишь и спишь.

– Ба, я знаю, где Марик.

– Спаси и сохрани нас, Царица Небесная! Где?

– А вон там в густых кустах.

– Ты откуда знаешь?

– Мне приснилось.

– Что за чепуха?

Пошли однако смотреть. С большим трудом Алику уговорил бабушку пролезть сквозь зеленый лаз. Бабушка лезла, охала и божилась. Вылезли они, держась за руки.

Рядом с деревом лежала какая-то большая изодранная красная кукла.

Бабушка ахнула, быстро закрыла Алику рукой глаза и тут же, не говоря ни слова, погнала его через лаз назад и сама поторопилась за ним. К телу даже не подошла.

Через двадцать минут на месте преступления уже была милиция. Алику заперли в гостиничном номере. А потом его там же в присутствии бабушки допрашивали два следователя – высокий молодой блондин и коренастый чернявый, постарше. Чернявый, дергался, брызгал

слюной, истерил, грозил колонией, блондин был корректен, старался разговаривать мальчика, задавал вопросы, не имеющие отношения к делу.

Алик твердил: «Ловил бабочек сачком, услышал мычание, пролез сквозь лаз, увидел что-то, не знаю, что, испугался до смерти, побежал назад к бабушке и заснул...»

На следующий день Алик в брошенной кем-то в гостинице газете прочитал, что Марика до смерти запрыгали ножом, который оперативники нашли рядом с трупом.

...

Через пару дней маньяка взяли в Алуште. Он был легко ранен – у него были порезаны руки и на щеке адела длинная, но неглубокая рана. Маньяк обратился за помощью в одну из алуштинских поликлиник. Врач сообщил о его появлении в милицию и начал обрабатывать порезы. При аресте маньяк серьезного сопротивления не оказал, гордил какую-то чепуху, в частности бормотал что-то о – рыжей бестии и ее пастушке.

Алика водили на опознание... он вел себя беспокойно, трясся, а когда ему показали подозреваемого через зеркальное стекло, потерял сознание – Алику показалось, что маньяк укоризненно смотрит ему в глаза и показывает пальцем на порез на щеке. Ему дали понюхать нашатыря и отпустили. А маньяка осудили и расстреляли через четыре месяца, несмотря на отсутствие признания и статус душевнобольного.

Рыжую женщину Алик больше никогда не видел.

Дальнейшая жизнь его проходила без особых приключений. Окончил МАИ, работал, женился, развелся. В девяностом году переехал в Германию.

Я познакомился с ним в Дрездене, на вечере у общих знакомых. Там он и рассказал мне эту историю. Когда я прямо спросил его, убил ли он Марика, он ответил так: «Ты писатель, думай сам. А я... не знаю... я рассказал тебе все так, как все это память сохранила. Одно только могу добавить – ножик мой любимый, металлический такой, с парусом, я в тот день потерял. Искал потом, искал, но все напрасно. Через день купил такой же потихоньку в канцелярском. За тридцать пять копеек. Чтобы бабушка не заметила».

Июнь

Хорошо в Москве в июне. Особенно, когда тебе пятнадцать лет и ты на лавочке сидишь, пирожное ешь и с дружкой болтаешь. Вкусные пирожные продавали в начале семидесятых в кулинарии ресторана «Кристалл» на Ленинском проспекте. Это там, где потом была «Гавана». А сейчас казино, сауна и бордель «Гладиатор», в котором можно, согласно рекламе, «окупиться в атмосферу эротических игр средневековья».

Да, вкусные и недорогие были пирожные. Я взял эклер и миндальное, все вместе – двадцать шесть копеек. А Витька Рубин купил два куса пражского торта.

Витька маленький и толстый, любит шоколад. А я предпочитаю эклер. Тесто у эклера нежное, крем сладкий и жирный. Съешь один – и растечется слюна по рту. Еще хочется. А ты вместо второго эклера мягкий миндальный кружочек откусишь и не жуешь... Пусть тает.

Восемь классов отучились. Кайф! Выхлопными газами приятно пахнет. Что-то в них есть наркотическое. Зелень в июньском огне горит и не сгорает. Ленинский слепит отражениями. Не проспект, а путь в светлое будущее, как на плакате написано. Асфальт от жары как лава течет, и воздух над ним плавится, фата-морганы представляются. Море видно. Кораблики плавают.

Впереди каникулы. Большой кусок синей теплой пустоты. Расслабиться можно, пожить. Помечтать о любви. А может быть и не только помечтать, но и за мягкость потрогать. Или даже пальчиком туда... Вот, наверно, сладко, слаще эклера, слаще сочного томного дурака – пражского торта. Тридцать три веселых капитана девочку поймали у фонтана... Быстро трусики стянули... Началась веселая игра.

Так сидели мы на залитом солнечным светом Ленинском, блаженствовали, пирожные доедали. В неведение, как в приятном сне. Витькины губы измазаны шоколадным кремом. Длинные бело-розовые пальчики с маленькими ногтями работают как щупальца. Аккуратно, легко. А я свои обрубки стараюсь не показывать. Стесняюсь.

Спросил:

– Ты куда летом собрался?

– На дачу, а потом в Судак. А ты?

– В Ферсановку. Надоело... Но разве одам объяснишь что-нибудь? Слушай, Витьк, а там девушки есть, в Судаке?

– Аск! Там Генуэзская крепость, пещеры, монастырь, и красавицы на пляже валяются, ножки раздвигают, так, что волосики видно.

– Попробуй такую красавицу между ног погладь – первым под руку попавшимся камнем в лоб влепит.

– Слушай, что расскажу. Я вчера у одного знакомого был. В креслах сидели. Представляешь, входит вдруг в комнату его дочка, лет шести, подходит к отцу и ширинку ему расстегивает. А тот сидит, «Литературку» читает. Достает она его член из штанов, как Маяк свою краснокожую паспортину, и начинает облизывать и сосать. Воот такое эскимо! Здорово, а? Пососала у отца и спать ушла.

– Кто же он такой? Макаренко?

– Писатель. Популярные исторические романы пишет. Говорил, что десять тысяч лет назад все так жили.

– Писатели всё знают. Им виднее. Скажи честно, сейчас придумал? Или еще вчера?

Идиотские шуточки были у нас в ходу. Витька часто меня поддевал. И я в долгу не оставался.

– Нет, правда, сосала как водочка! – настаивал Рубин, надев на лицо загадочную улыбку Джоконды.

– Витьк, а ты манду видел?

– Один раз. Когда маленький был. У мамы. Волосатая, с розовыми губами. Мать спала, ноги раскрыла. Я испугался, укрыл ее. А потом еще раз одеяло приподнял. С тех пор не видел. Только у малышни на пляже – мышки-щелки... Он еще говорил, – раньше матери с сыновьями спали. Вот это я понимаю... Отца часто голого вижу. Он меня в ванну вызывает, спину тереть. Веснушки у него везде или родимые пятна, не знаю. И хер такой темный, старый, в складках, как гриб. Тон-тон, у тебя просто так встает?

– У меня встает на все, что не надо. На автобус, на Метромост. На Солнце. И на памятник Ленину. А вот когда влюблен не встает. Три месяца назад втюрился я в одну черноглазую. В какую, не скажу, а то ты всем разболтаешь. Хотел пососаться, не дала. Только обнимались. Сердце мое горело, а член спал. Мне казалось, что я сам член. Пламенный.

– Ты бы сегодня об этом в сочинении написал. Кем я стану. Стану, мол, пламенным членом... Политбюро... Ты о чем писал, о Радищеве? Или про Кошевого?

– Про Кошевого. Я и трети «Путешествия» не осилил. Не читается. Язык допотопный. Другое дело «Молодая Гвардия». Гестаповцы раздевают и терзают Улю Громову. А она запекает – Замучен тяжелой неволей. Клёво! Ты знаешь, что случилось, когда мне шесть лет было? Меня чуть сексуальный маньяк в Крыму не украл. В Симферополе. На площади у вокзала. Мы с бабушкой в Алушке отдыхали. На обратном пути, из Ялты в Симферополь, таксист пассажиров пугал, говорил, банда в Крыму орудует. Воруют детей. Насилуют, а потом в лесу живьем сжигают. Нашли тогда будто бы пять обгоревших трупов. В горах, недалеко от старой дороги на Ялту. Приехали мы в Симферополь, на вокзал. Бабушка в туалет пошла. А там очередь. Стоять надо долго. Меня на площадке оставила. Там много детей бегало. Вдруг подходит ко мне дядька какой-то и говорит – хочешь клубнички свежей? Только что на базаре купил. И подает мне газетный кулек. В нем клубника. Крупная. Голос мне шепнул – не бери! А я взял. Одну ягодку. Потом еще одну. Я клубнику ем, а дядька на меня смотрит. Жадно и пристально. Говорит – у меня и черешня есть. Целое ведро. В машине. И показывает мне на москвич, старый-престарый... Пойдем туда, посмотришь на мой автомобиль, черешни поешь. Тут мне опять голос внутренний шепнул – не ходи! Не послушал, пошел. А два наших чемодана на площадке остались. Подошли мы к машине. Дядька дверь открыл. На заднем сиденье стоит ведро. Но в ведре не черешня, а три окровавленных человеческих руки, пальцами наверх, как куриные лапы. И ногти у них синие, длинные, винтом. А рядом ржавая пила валяется... Я от страха онемел. А дядька схватил меня железными протезами и как заорет – отдай мне свои руки!!!

– А в другом ведре – ноги. Ногти как сабли. А рядом точильный станок. Загибай, загибай дальше!

– Все было, как я сказал. Только в ведре, действительно, черешня была. Угостил меня дядька черешней. И уговаривать начал – поедem ко мне сейчас домой, там у меня во дворе шелковица, сладость одна! А вечером в театр пойдem. «Синюю птицу» смотреть. У меня два билета есть. И билеты мне сует. Одной рукой мне билеты сует, внимание отвлекает, другой в машину тянет. И глазами на меня крсяськими пялятся. Рычит, хрипит... Когда я уже в машине сидел, и дядька дверь закрывал, подскочила к нам как вихрь моя бабушка. За руку меня, и из машины вон. Милиция, кричит, милиция! Прохожие на нас зенки вытаращили. А дядька тут же слинял. На своем москвиче.

– У нас на даче кот каждый день по пять синих птиц мертвых приносит. Думает, так лучше. Мать его газетой лупит за это, но он все равно приносит. Что бы дядька этот с тобой сделал? В попу бы выдрал, а потом придушил. Или в погребке бы запер и мучил?

– Не знаю. Я тогда и не испугался даже. Очень уж шелковицу любил.

– Тон-Тон, ты ведь дом большой знаешь, на Университетском? С башнями. Мы раньше там жили. Так вот, у большого полукруглого окна на лестничной клетке между первым и вто-

рым этажом нашего подъезда дети собирались – друг друга страшными рассказами пугать. Машка Федотова рассказывала про мать. Слушай сюда. Умерла у одной девочки мать. Ее похоронили на кладбище в черном гробу. Девочка легла дома одна спать. Вдруг радио само включается и говорит: «Мать вылезает из гроба».

Девочка подумала, что ослышалась, и заснула. Через двадцать минут радио говорит: «Мать идет домой».

Девочка проснулась, но опять подумала, что ослышалась. Опять заснула. Еще через двадцать минут радио говорит: «Мать подходит к дому».

Девочка проснулась и больше не могла заснуть. Через пять минут радио говорит: «Мать входит в подъезд».

Девочка заплакала от страха. Радио говорит: «Мать подходит к двери».

Девочка застучала зубами. Радио говорит: «Мать входит в квартиру».

Девочка окаменела. Радио говорит: «Мать рядом с тобой».

Мертвая мать говорит девочке: «Мне холодно, мне голодно, я пришла, чтобы забрать тебя, пойдем на кладбище, в мою могилу. Мы ляжем в мой гроб, и ты согреешь меня. А потом я буду есть твоё мясо...»

Так вот, я недавно узнал, что у Машки потом, когда ей лет десять было, умерла мать. На самом деле. А Машка после похорон пропала. Так до сих пор и не объявилась.

– А отец?

– Не знаю, может он еще раньше из семьи ушел... И про отца один пацан тоже рассказывал. Васька... У мальчика умер отец. У него были черные ногти. Его похоронили. Через день пошел мальчик на базар, купить что-нибудь поесть. Видит – баба торгует пирожками с мясом. Мальчик купил пирожок, стал есть. Подавился, закашлялся и выплюнул человеческий палец. Палец был с черным ногтем. Мальчик узнал палец. Побежал к Шелохолсу (так Васька Шерлока Холмса называл). Шелохолс пошел на базар. Нашел бабу с пирожками. Купил пирожок. Отошел. Разломил его – внутри глаз. Глаз смотрит на Шелохолса. Голос говорит: «Иди к бабе в подвал, там лежит мясо».

Пошел Шелохолс к бабе в подвал. Не может войти – двери заперты. Он спрятался. Ждет. Пришла баба, открыла замок. Он вошел за ней. Баба ушла. Шелохолс пошел в комнату. Видит – комната до потолка заполнена человеческими пальцами. Пошел в другую – та комната полна глазами. Глаза смотрят на Шелохолса. Голос говорит ему: «Иди туда и туда, на кладбище. Там баба и дед могилы роют. Вырывают покойников и делают из их мяса пирожки».

– Ну и чего? И у Васьки отец умер?

– Не знаю, но, говорят, что пирожки с мясом, которые у универсама «Москва» продают, – из человеческого мяса.

– Не свисти!

– Ты про свою синюю птицу и черешню не наврал?

– А ты, про своего Макаренко? Девочка шести лет. Сказал бы еще грудной младенец тятю сосет!

– И грудные сосут, на острове «Тахо-Тиха» так детей выкармливают.

– А что на острове «Не-свисти-Ка» происходит? Макаренко! А ты знаешь, что меня чуть Мосгаз не задушил?

– А Мослеспром тебя на куски не распиливал? Или Росглавлегснаббытсырьё? Или Тяжмашзагранпоставка?

...

Расстались мы мирно. Витька на автобусе уехал. А я вниз по Ленинскому поплелся. Забавно, как раз тогда, когда мы спорили, в неведомом кабинете неприятного учреждения, в котором коммунистические начальники судьбу сограждан решают, некто Рябов подписал одну бумажку. И печать поставил. Подписал, потому что получил за это взятку от витькиного папы,

бывшего главного экономиста в министерстве. И бумажка эта, выйдя от Рябова, уже на следующий день оказалась в почтовом ящике квартиры Рубиных на шестнадцатом этаже высотного жилого дома на Ленинском проспекте. Чудесной квартиры с видом на лес и озеро. И изменила эта волшебная бумажка витькину жизнь. Ни дачи, ни Судака он больше не увидел. Потому что уже через неделю унесла его белая алюминиевая птица из СССР навсегда. За горы и моря.

На новом месте Витьке понравилось. Тепло, по радио рок-н-ролл передают, а не Людмилу Зыкину, и девушки не жеманные. С черными или рыжими кудряшками все. Закончил он там школу и пошел перед университетом в армию. И убили его там, в пустыне, непонятные темные люди, арабы. И очень обрадовались его смерти. А тело его целый день по улицам на веревке волочили. И маленькие девочки пинали его ногами...

...

А со мной вот что случилось. Шел я по Ленинскому в сторону «Синтетики». Захотел перейти проспект, но на переходе застрял. Правительственный кортеж из Внукова в центр мчался. Вначале волга новая пролетела. С разноцветными мигалками. Сиреной оглушила. Только-только появились тогда в Москве эти машины. Все их ждали, надеялись. Думали, будет как кадиллак.

За волгой черные зилы понеслись. Сточетыренадцатые. Зашуршали. Брежнев наверное или какая-нибудь шушера. Много зил. Все их боялись. Такие задавят, не заметят. Скорость под двести. И масса как у танка. После зил – черные чайки. Штук тридцать. Вр-вр-вр... Проехали начальники. Теперь идти можно. Ну я и побежал. Не заметил вылетевшей сверху, как из облаков, последней, отставшей от кортежа, белой чайки. Не услышал крика прохожих – стой! Ты куда! Не почувствовал удара ребристой чайкиной морды. Не заметил, как взлетел, не понял, что умер в воздухе. Не видел, как чайка остановилась, как из нее вышел растерянный шофер. Не мог помочь женщинам, бившим шофера сумками. Не видел бутылку кефира с зеленой крышечкой, вылетевшую у кого-то из сумки и валявшуюся рядом со мной на асфальте. Не видел и как народ отогнали люди в одинаковых костюмах, как забрали мое тело.

Хоронили меня на Востряковском кладбище. Там, где тела не разлагаются, а замыливаются и как пластиковые куклы в пене вонючей десятилетиями лежат. И червь их не ест и бактерии не трогают. Мои родные на похоронах плакали, особенно мать убивалась, а одноклассники шутили, дурачились, в салочки играли. Андрюха Шаповал за Наташей Марец бегал, той самой, черноглазой. А она на красавчика Неверова заглядывалась...

...

Ничего моя смерть в мире не изменила. У бочки с квасом очередь стоит. На улице Панферова часто ветер дует. И Земля с орбиты не сошла, так и крутится, дура, по закону Кеплера.

А я в бабочку превратился. Не адмирал и не павлиний глаз, конечно, но тоже, ничего. С черными капельками на кончиках крылышек. Поначалу меня все на цветочки тянуло, нектаром баловался. В воздухе кувыркался, шалил. Птиц сторонился, хотя и объяснили мне, – бояться нечего... Своих искал, но как будто кто сиреневый гребень у меня перед глазами держал. Видел дома, провода, автобусы, трамваи, тротуары. А вместо людей вроде тени. И лица у всех как тарелки. Так никого и не нашел. До самой осени по лесам, по полям носился. Море видел, – то ли Черное, то ли Белое. Из сил выбился. Поташило тут меня смертным ветром вверх, через облака. Оторвало крылышки. Облепило металлом небесным. Стал я похож на голубя серебряного. И уже не летел я, а винтом в пространство пустое врзался. Прямо на Луну меня притянуло. Наелся я там пыли и песка и в расщелине между серых скал затаился.

Обновка

Человека, входящего в семейное рабочее общежитие, расположенное в двух блоках типового панельного девятиэтажного дома на улице Паустовского, встречал алый транспарант, на котором было начертано крупными белыми буквами:

ОБЩЕЖИТИЕ СЕРЫЙ СОКОЛ

**ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕРОИЧЕСКИЙ
РАБОЧИЙ КЛАСС СТРАНЫ СОВЕТОВ!**

ПАРТИЯ ЛЕНИНА – НАШ РУЛЕВОЙ!

В правом углу транспаранта неверной рукой какого-то мизантропа было приписано черным фломастером:

А ИДИТЕ-КА ВСЕ НА ХЕР!

В левом углу тем же фломастером кто-то написал:

СОКОЛ СРАНЫЙ, Я ТУТ НОГУ ПОТЕРЯЛ

и нарисовал рядом птичку, похожую, однако, больше на обыкновенного воробья, чем на сокола, несущую в клюве маленькую человеческую ногу, волосатую и босую.

Под транспарантом сидела вахтерша баба Нина, равнодушная по-видимому и к транспаранту и к надписям на нем, женщина неопределенного возраста с колючими глазами, небрежно выщипанными и подведенными черным карандашом «по-древнеегипетски» бровями и подкрашенными хной клокастыми волосами. Баба Нина в любое время года парилась в сером ватнике, из-под которого вылезала грубая коричневая юбка, похожая на медвежью шкуру. Летом баба Нина носила щегольские сапожки «Аляска», подаренные ей бескорыстными искателями ее милостей, а в остальное время – короткие, лоснящиеся валенки непонятного цвета с галошами.

– Пар костей не ломит! – авторитетно утверждала баба Нина.

– Тута на проходной сквозняки почки студют! У нас полы холодные, как в мертвецкой. Совсем можно заболеть...

До общежития баба Нина работала сторожихой в Пятой Градской и про полы в морге знала не понаслышке.

На голове у бабы Нины круглилась мохнатая молочно-белая вязаная шапочка с маленьким пятнышком. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что это не пятнышко, а аккуратно пришитая к шапке тряпочка с вышитым изображением розовой кошечки, выпустившей противные круглые коготочки и готовящейся сцапать ими микроскопическую мышку.

Баба Нина встречала всех входящих в общежитие одинаково приветливо: «Гражданин, покажи документ! Пропуск, говорю, покажь! В десять закрываем двери! У нас тут семьи с детьми живут, а не разиньрот и поелбля!»

«Разиньрот» на бабынинином языке означало – разврат. Что значит мнимосоставное слово «поелбля» читатель может догадаться сам.

...

На девятом этаже общежития, в трехкомнатной «мужской» квартире, в четырнадцатиметровой комнате, выходящей единственным окном на огромный, замызганный и уделанный собаками двор, в середине которого стоял небольшой бетонный сарай с каким-то электрическим и водным хозяйством, к северному боку которого были пришпандорены две телефонные будки, к которым, как ленточки к бескозырке, прилеплялись очереди, состоящие из нетерпеливых и раздраженных людей, жили два шофера – Иван и Митрофан. Оба за тридцать, оба родом то ли из под Анапы, то ли из под Анадыря, оба холостые, крепкие, как все шоферы, оба регулярно пьющие. Иван был повыше и фигурой помощнее, любил и поговорить. Активный человек, активистом на выборах работал. Правда домой к избирателям, как того от него требовали в избирательной комиссии, он никогда не заглядывал. Только галочки в списке ставил. Объяснял он свое поведение так: «Ходи, не ходи. Все равно в задней комнате бюллетени нетронутые лежат, как им надо заполненные. А всю макулатуру, что избиратели заполняют, тут же после выборов, не считая – на помойку. Без эмоций!»

Митрофан – был поменьше и послабее Ивана, он почти всегда молчал. Даже остановки забывал объявлять в своем автобусе, когда объявлятельная машина сбоила. Вообще, был человеком пассивным. Разве что, раз в месяц на голубятню лазил. Гонял сизарей по сизому московскому небу. Ему эту его пассивность всю жизнь вменяли в вину различные советские начальники. Ставили его на вид. Прорабатывали. А он в ответ только зевал, кивал и даже не оправдывался.

Иван носил по выходным замшевую куртку и гэдэровские джинсы. Митрофан и на работу и на танцульки ходил в темной мешковатой куртке непонятного покроя, в таких же штанах и коричневых бусах. Словом, Иван и Митрофан были обычными шоферюгами, только Иван был чуть побойчее, а Митрофан – поскромнее. Жили шофера ладно, как говорил Иван – без эмоций. Не дружили, но приятельствовали. Выпивали вместе. Лежали на своих кроватях, курили Беломор. Иван раздражался иногда потоком непечатных слов, потом замолкал и подолгу смотрел на нечистый потолок их комнаты. Митрофан часто дремал или книгу читал «Историю древнего мира», учебник для пятого и шестого класса средней школы. И Иван и Митрофан не имели и восьмилетнего образования, были взяты в Москву «по лимиту», водили рейсовые автобусы и терпеливо ждали собственную жилплощадь – комнату в коммуналке в том же Ясенево, которую начальство обещало предоставить каждому из них по окончании десяти лет работы.

- Если не будет выговоров или взысканий!
- Если будешь активно вести общественную работу и регулярно ходить на выборы!
- Во всем одобрять и поддерживать линию коммунистической партии!
- Не давать спуску прогульщикам, пьяницам, летунам, самогонщикам, морально разложившимся тунеядцам и скрытым врагам советского строя!

Иван и Митрофан ни с кем не боролись, но разлагались как умели, работали сверхурочно, поддерживали линию, не ввязывались в драки, случавшиеся в общежитии почти ежедневно, к советской власти во всех ее проявлениях относились с народным фатализмом... Как к природным явлениям – горам, ураганам, равнинам или лесам. Не верили, что люди где-то живут иначе. Были довольны своей бессемейной, бестолковой жизнью.

У Ивана то и дело появлялись подружки на стороне. Чаще всего – такая же лимита, как и он, только из женского общежития. Он нелегально жил с ними неделями или месяцами, потом его с позором выгоняли вахтеры или сами же хмельные сожительницы, и он возвращался в свою неуютную, неприбранную мужскую комнату на девятом этаже, к своему неразговорчивому соседу, читающему учебник истории.

Митрофан и друг не заводил. В его теле не бушевали страсти. Приходил, смертельно усталый после смены, принимал душ, варил макароны, пил чай и ложился на кровать. Перед сном онанировал, тихо сопя и вздыхая, кончал под одеялом, вытирал сперму полотенцем, убирал его в тумбочку и засыпал. Возбуждал себя Митрофан картинками из того же учебника. Представлял себе страстную Клеопатру, с изумрудным ожерельем на смуглых грудях, прекрасную бледную, в сиреневых шелках, царицу Елену или доисторическую, с открытой волосатой грудью, похожую на гориллу, женщину с огромной корявой дубиной, австралопитечку с иллюстрации к статье «Высшие приматы в пустыне Калахари – роль труда в становлении человека».

Этой женщине Митрофан дал зачем-то странное имя – Мончичи. Когда Иван отсутствовал, Митрофан громко говорил с Мончичи в своей комнате, рассказывал ей о проделках пассажиров в его автобусе, жаловался ей на погоду, на механиков, на начальство, желал ей спокойной ночи...

Изредка Митрофан пытался разобраться в себе, понять, что же он все-таки сам за существо. Напрягал память, пытался что-то хорошее вспомнить, о чем-нибудь важном подумать, что-то сам для себя решить, но ничего на ум не приходило, кроме Мончичи. В голове у Митрофана было какое-то зудящее марево. В ушах часто звенело и стрекотало. Тысячи потусторонних кузнечиков покрывали своим стрекотом его жизнь, как снег – московские улицы...

...

Соседями Ивана и Митрофана по квартире были три толстых казаха – Бактыбай, Бактыгерей и Балабек, тоже шоферы, и живущий один в крохотной комнатке ловкий старичок Урмантай Урмантаев, слесарь. Иван и Митрофан звали его дядя Урма, относились к нему «без эмоций», иногда приглашали его третьим.

Казахи с соседями не общались. Жили какой-то своей жизнью. Пели вместе что-то заунывное по вечерам. Младший, двадцатипятилетний Балабек заходил иногда к русским соседям и спрашивал: «Иван-Митрофан, бутылка есть?»

Иван отвечал ему лениво: «Нет водки. Ты, эта... Без эмоций! Сходи на перекресток с Голубинской, там у таксиста всегда купить можно. Пятерик дай, хватит с них, а то они всегда червонец просят. И нам нальешь за совет по чекушке. Шутю, шутю...»

Когда Балабек уходил, Иван замечал горько: «Нацмен – он и есть нацмен. Чурка глупая! Шутки не понимает! Целина! Не может водки купить! А баранку вишь крутит, как ты да я. Зашибись, вока! Что ты думаешь, Митро?»

Митрофан тянул: «Да ушшш... Чуркодаавы...»

...

Дядя Урма говорил о себе так: «Я православный татарин, волжский болгар, кряшен-кераит, крещеный значит, мой род от Золотой Орда, мой предок – святой Авраам, который колодец рыл. С живая вода. Его убил Чингисхан. У меня в Буинске жена Агдалия... Хочешь перекрещусь? Икону видишь в углу? Казанская... Чудеса делает. Из запоя выводит. Что? Почему Сталин рядом с иконой? Потому что при нем был порядок! Он любил простой человек. Церковь у нас открыл».

О том, что пришлось ему таки при Сталине отсидеть семнадцать с половиной лет по пятьдесят восьмой статье, дядя Урма никогда никому не рассказывал, стыдился. Когда его, девятнадцатилетнего паренька из предместья Казани, арестовали и посадили, он по-русски и говорить не умел. Емушили политическую статью, а он думал, что его преследуют за то, что на работе инструменты крал на обмен и продажу. Он так всем и говорил в лагере: «За плоскогубца пострадал, значит...»

А на самом деле его осудили по статье 58-9 за «причинение ущерба системе транспорта, водоснабжения.... в контрреволюционных целях». На фабрике трубу прорвало с горячей водой. Оборудование новое залило, обварило рабочих. Чинил трубу Урмантай, за это его и посадили. Вместе со всей бригадой. И хотя по статье 58-9 наказание такое же, как и по страшной ста-

тье 58-2 (вооруженное восстание), Урман-тая не расстреляли, а дали «десятку». А потом, как и другим, от доброты советской души, «добавили». Вышел из лагеря он только в пятьдесят четвертом. Выжил дядя Урма в лагере, потому что по счастливой случайности угодил в придурки, прислуживал начальнику лагеря, подполковнику-татарину, говорил с ним по-татарски, убирался, стирал и гладил его одежду, подворовывал, жировал, а потом, когда и подполковника арестовали, не колеблясь подписал показания, которые подсунули ему следики. Если бы он умел читать по-русски, то наверно ужаснулся бы тому, что подписал – подполковник его обвинялся в том, что собирался передать автономную Татарскую Советскую Социалистическую Республику, вместе с рекой Волгой, со всем населением и полезными ископаемыми – нефтью, углем и доломитами – то ли Римскому Папе, то ли японскому императору, но дядя Урма читать не умел, сам по подполковничьему делу осужден не был и остался в придурках. Любопытно, что по своей прямой специальности – слесаря-сантехника – он не проработал в сталинском лагере ни одного дня.

По выходе из лагеря Урмантай устроился на молочной комбинат в городе Набережные Челны, связался там с православными татарами – кряшенами, ходил в церковь, даже причащался и каялся, но икону свою, Богоматерь Казанскую, умудрился таки в церкви прямо со стены украсть. За несколько лет до выхода на пенсию перебрался за взятку в Москву, работал слесарем в большом гараже, осторожно подворовывал и там... Надеялся, что заживет в столице как король. Но быстро разочаровался. Хотел было вернуться в Набережные Челны, но так и не поднялся.

– Что тут в этой ваша Москва делать? Человек – одна сволочь тут. Собаки – народ. Ясе-нево – один церковь и тот закрыт. Могила-город.

Не чуждый идеям евразийства Иван отвечал ему лениво: «Ты, дядя Урма, монголотатар. Москва ему не нравится! Ты без эмоций, хунвейбин! Не пугай Европу! Чурка ты, гони на четырех в свою Казань, к твоим кряшенам. Там тебе будет хорошо. Зашибись, вока!»

...

Шестого ноября 197... года Иван пришел домой, в общежитие, радостный, с обновкой. Которую тут же показал Митрофану.

– Митро, гляди, какие ботинки! Саламандер, бля. Почти новые. Полтора года носил хозяин. Кожа-нубук! Такой обуви износу нет! Мелкий ворс! Зашибись, вока! Я уже бабе Нине показал, сказала глупая баба, что это козлиная. Ну что с вахтерши взять? Какая, говорю, тебе козлиная? Сама ты козлиная стоеросовая в валенках, это... кожа-нубук, немецкая работа. К замшевой куртке будет пара!

Иван рассказал, что ботинки эти расчудесные подарил ему армянин Назарян, «цеховик и жучище», которому он сегодня, после смены: «Кафель ложил в ванной. А кафель этот я вчера прямо на автобусе с центрального склада увез. Кореша отложили. Голубой кафель. С лебедями. Импортный, голландский. Эластик... Сотенку подкинул и ботинки подарил! Зашибись, вока! Армяшка, а богат, как жид! Нацмен, конечно, чурка черножопая, а человек солидный, без эмоций. Честно расплатился. Руку пожал. И Саламандер вручил. Я их, сказал, только полтора года носил, а им износу нет. Скорее ноги отсохнут, чем такие ботинки поломаются! Бежевая кожа. Нубук! По самой по ноге! Немецкая работа...»

Лежащий на своей кровати Митрофан отложил учебник древней истории в сторону, осмотрел ботинки, потрогал коротким большим пальцем толстую мягкую подошву и сказал:

– Даа, ушшш, ботиинки...

Иван пошел показывать ботинки дяде Урме.

Утром следующего, праздничного дня Иван и Митрофан спустились в Красный уголок, смотреть военный парад. На старом, выдавшем виды, письменном столе стоял цветной телевизор «Темп». Вокруг него сидели на поломанных алюминиевых стульях обитатели общежития – рабочие с женами и детьми. Пришли смотреть парад даже некоторые нелегально прожива-

ющие в общежитии бабушки и дедушки. Подошла баба Нина в своем ватнике. Спустился и дядя Урма.

Многие курили, в воздухе можно было топор вешать. Пахло перегаром и нечистой одеждой. Дети кашляли. Женщины шушукались, хихикали. Мужчины басили. Старики кряхтели. Бабки потирали себе поясницы, кутались в оренбургские платки. Были и пьяные. Эти горюдили чушь, хватали за руки, приставали, пытались что-то объяснить. Их вежливо успокаивали. Иван и Митрофан раздавили под парад свой первый «пузырь» – бутылку Московской. Закусывали ржаным хлебом, переложенным розоватым салом и маринованными чесночными головками. Сало привезла несколько месяцев назад мать Митрофана, приехавшая повидать сына и отовариться. Уговаривала сына бросить эту Москву и вернуться в их поселок: «Сынок, ты мое единственное утешение, пропадешь ты в этом вертепе. Сколько можно тут на боку валяться? Я тебе и невесту присмотрела. Такая стройнюшенька, Сонечка Простова, помнишь напротив нас, в бараке бабка Простуха жила? Которая в корыте утонула. Дразнили ее еще уткой дохлой. Ее внучка».

Митрофан отвечал матери: «Ну, маа... Чего ты...»

Маринованный чеснок покупал Иван на Черемушкинском рынке у знакомого грузина Мамука, продавца и известного бизнесмена, хозяина подпольного игорного заведения, необыкновенно породистого человека с тонкими старомодными черными усиками над синеватыми губами, называющего себя карабахским князем. Под белым халатом князь носил кольчугу и небольшой кинжал. Иван говорил про него так: «Во, Мамук-Карабах! Тоже ведь чурка, а миллионер! Жукастый. Без эмоций пацан. Зарезать может».

Игорный дом Мамука помещался тогда в гостинице при рынке, а до этого – в деревянной избе.

Избу эту игорную я прекрасно помню. Стояла она недалеко от рынка до начала семидесятых годов. Вечерами и ночами в ней резались в карты непонятные нам, детям окрестных домов, люди. К избе этой было опасно подходить – оттуда могли выстрелить. Ночами окна избы светились оранжевыми огнями, за тяжелыми кремовыми занавесками мелькали тени, из избы доносилась неприятная глухая восточная музыка. Милиция – и рыночная и окрестная была куплена на корню и к избе и близко не подходила. Однажды в избе убили какого-то человека средних лет. Труп его, не мудрствуя лукаво, выбросили в окошко. Целый день на его залитые кровью седые волосы глазели с безопасного расстояния прохожие и мальчишки. Только к вечеру приехали скорая помощь и милиция и забрали мертвое тело. В избу санитары и милиционеры даже не зашли.

...

События, показываемые на экране телевизора, общежитская публика комментировала вяло.

Когда генерал армии Говоров доложил о построении участников парада маршалу Устинову и камера показала толпу ветеранов с медалями, кто-то заметил горько: «Ветеринары». Так в те времена дразнили иногда ветеранов Великой Отечественной Войны. Иван говорил в сердцах: «Ветеринар сам не работает, другим работать не дает. И ворует. Без эмоций».

Устинов объехал войска. У каждого подразделения прорычал свое поздравление.казалось, что военные отвечали ему громоподобным лаем. Заиграли фанфары. Камера показала крупным планом портрет Ленина. Кто-то не удержался и брякнул: «Лысый хер!»

Общежитские стукачи тут же приподнялись, вытянули шеи, пытались определить, кто это сказал, но, встретившись с нескрываемо агрессивными взглядами рабочих и шоферов присели, поникли.

Как всегда решительный, целеустремленный Ильич на советской иконе смотрел куда-то влево, вбок, вверх солдатских голов, в сторону Исторического музея, основанного кстати указом императора Александра Второго. Не мог же он смотреть прямо перед собой – там стоял

мавзолее, в котором лежало его собственное тело в стеклянном саркофаге. И это предусмотрели кремлевские пропагандисты.

Ильич казалось играл желваками на желчном лице. Что еще хотел этот террорист от России? Почему так тревожен был взгляд его надменной рожи? Догадывался ли он, что советскому строю и самому, созданному им, государству осталось существовать одно, последнее, десятилетие? Или прозорливый статистик уже провидел, в какую гадость превратят его наследники «новую свободную Россию» и тайно ликовал.

Устинов на мавзолее уткнулся в бумажку в небольшой папке и зачитал речь. Камера показала крупным планом стоящего рядом с ним в могучей меховой шапке как будто надутого старика с брюзгливым глупым лицом – Брежнева, потом остановилась на сочащейся высокомерием и подлостью морде Гришина, задержалась на лисьей мине педофила Суслова, этого советского идеологического доктора Менгеле.

– Ууу, сычуги, – отозвался кто-то из рабочих.

В конце речи Устинов провозгласил по-старчески грозно: «Да здравствует ленинская коммунистическая партия советского союза, руководящая и направляющая сила советского общества! Слава великому советскому народу, строителю коммунизма, последовательному борцу за мир во всем мире! Ура!»

И Красная площадь, и вся огромная советская страна, раскинувшаяся громадным бычьим цепнем от Пскова до Владивостока ответила этому дебильному призыву ревом одобрения.

Рабочий класс в Красном уголке общежития «Серый сокол» промолчал. Слышно было только, как булькает водка, переливаясь из бутылок в граненые стаканы, как кто-то тихо говорит: «Ну, будем, ети их всех... С праздничком!»

«С праздничком» говорилось не без едкости, но не зло, а как бы опущено, безнадежно. Тысячелетние рабы давно уже не страдали от ошейников, не реагировали на пинки и окрики, а от массовых мероприятий и зрелищ, устраиваемых властями для демонстрации их ничтожества, научились получать удовольствие.

Чеканный марш кремлевских курсантов, «победителей социалистического соревнования среди воинов», рабочие люди прокомментировали так: «Во как идут, касатики. Сапог к сапогу. Победители. Сволота...»

Иван сказал в полголоса: «Зашибись, вока! Без эмоциев шпарют. Как меха у баяна. С хрустом, как по костям. Их бы за баранку посадить, посмотрели бы мы...»

Кто-то отозвался: «Ваня всех за баранку своего сто восьмого посадить хочет. Следующая остановка Киевский вокзал».

...

После окончания парада Иван и Митрофан поднялись на лифте на девятый этаж. Прошли в свою комнату. Открыли банку сайры в томате и начали давить второй пузырь.

После праздничного обеда пути соседей должны были разойтись. Иван хотел навестить одну из своих пассий – крановщицу Мотю из Челябинска, могучую бульбоносую женщину с рябым квадратным лицом, живущую в рабочем общежитии где-то в районе метро Полежаевская. Собирался надеть свою замшевую куртку и обновку – мягкие бежевые ботинки.

А Митрофан хотел соснуть, а затем заняться чтением своего учебника. Судьба, однако, распорядилась иначе. Уже через несколько часов их тела лежали в судебно-медицинском морге на улице Цюрюпы.

...

Поверьте мне, дорогие читатели, описывать то, как они туда попали, не доставляет мне никакого удовольствия. Мне искренно жалко этих работяг, провозглашенных гегемонами советского общества, а на самом деле презируемых и партийной номенклатурой и интеллигенцией париев. Я жил той же жизнью, что и они. Смотрел на тот же двор. Покупал ту же дрянную

колбасу «по два двадцать», тот же синеватый творог «в гондоне» и ту же перловку в том же ясеневском универсаме, дышал тем же отравленным выхлопными газами воздухом, ездил на работу в тех же переполненных автобусах и в вонючем метро, что и они. Много раз заходил в общежитие «Серый сокол», чтобы обменять там краденый на работе спирт на различные, необходимые в домашнем хозяйстве, вещи – выключатели, краны, замки, доски, цемент, оргалит, алебастр, краску, эпокситу и прочее. Видел там и иванов и митрофанов и, хоть и опасался по вечерам, что кто-нибудь из них хрястнет меня чем-нибудь тяжелым по голове, просто так, от избытка чувств, но общий язык находил с ними гораздо быстрее, чем с высоколобыми и чванливыми коллегами по научно-исследовательскому институту.

Понимал, что разница между мной и ими – причуда судьбы, случайность, что я запросто мог бы оказаться на их месте, родился я не в привилегированном московском доме в семье ученых, а где-то в глухой провинции – в Армавире или Актюбинске...

Прежде чем продолжать мой горестный рассказ, я, в интересах истины, хочу вернуться к тому моменту, когда Иван и Митрофан, прихватив с собой водку, сало и маринованные головки чеснока с Черемушкинского рынка, удивительно кстати похожие на небольшие перламутровые полумесяцы, вышли из своей комнаты и направились пешком вниз по лестнице, даже не вызвав общежитский лифт, в кабину которого с трудом втискивались трое нормальных мужчин.

Как только говор Ивана и шаркающие шаги ленищегося поднимать ноги Митрофана затихли, дверь в комнату дяди Урмы беззвучно открылась и оттуда, удивительно мягко и легко для своего возраста, выпрыгнул самопровозглашенный старичок-кряшен. По-воровски оглянувшись и убедившись, что входная дверь заперта, он изящным движением отодрал от четырехугольного отверстия, в которое должна была войти защелка английского замка, приклеенную к нему крохотную деревяшечку, открыл дверь в комнату Ивана и Митрофана, шмыгнул туда, мгновенно нашел опытными глазами Иванову обновку, спрятанную под одеяло, вынул ее оттуда, положил на место ботинок Иванову старую рубашку, свернутую в трубу, завернул Ивановы ботинки в принесенное с собой с преступными целями цветное махровое полотенце и тут же покинул комнату соседей. Захлопнул за собой дверь. А через минуту покинул и квартиру. Дверь в свою собственную комнату дядя Урма предусмотрительно оставил чуть приоткрытой.

На лестничную клетку он вышел в домашней одежде, поверх которой накиннул старый пиджак, на голову натянул засаленную спортивную шапочку, похожую на тибетейку, а под мышкой нес небольшую матерчатую сумку, на которой было грубо напечатано изображение улыбающейся девушки с гитарой. С этой сумочкой Урма вышел на холодную улицу, протрусил по ней метров двести и зашел в подъезд кооперативного шестнадцатиэтажного дома, поднялся на лифте на одиннадцатый этаж и позвонил в квартиру номер 134. Открыла ему какая-то женщина, по виду – тоже татарка. Ей он что-то сказал по-татарски и подал сумку. Сумку женщина приняла и исчезла. А еще через две минуты дядя Урма уже сидел в Красном уголке, недалеко от Ивана и Митрофана и вместе со всеми смотрел парад на Красной площади. После окончания парада дядя Урма наверх не пошел, а поболтал с людьми, а потом потихоньку ушел к своей татарке в шестнадцатиэтажный дом и заночевал у нее.

...

Иван заметил пропажу обновки не сразу. Приятели сидели на своих кроватях, между которыми они поставили тумбочку. Вторая поллитра была уже пуста. На тумбочке лежали остатки ржаного и пустая консервная банка из-под сайры с несколькими красными каплями на сверкающих металлических внутренних сводах.

Иван захотел полюбоваться на обновку, откинул одеяло, но вместо «Саламандера» обнаружил там собственную рубашку, которую давно было пора постирать.

Поначалу Иван только тупо смотрел на рубашку, потом развернул ее за чем-то, по-видимому надеясь, что ботинки как-то в ней затерялись. Из нагрудного кармана рубашки посыпалась на кровать мелочь. Иван сгреб ее и засунул в карман брюк. Деньги эти он украл в квартире

армянина Назаряна. Монетки лежали в вазочке для конфет и Иван прихватил их по дороге в ванную, когда хозяин был на кухне.

Забыв про мелочь, Иван устался на ни в чем не повинного Митрофана. А тот даже не понял в чем дело. Лег на кровать, взял в руки книгу.

Тут Иван завелся. Впал в ярость, в аффект, взбесился – назовите как хотите. Выбежал из комнаты и, не постучав, ворвался в комнату к казахам. Те сидели по-турецки на полу, в кружок. Посередине что-то курилось. Воняло как-то странно. Иван, теряя голову и сатанея, спросил казахов прерывистым сумасшедшим голосом: «Ботинок моих не видели, чурки? Кожа-нубук, стырили, суки! Зашибись, урою гадов!»

И бросился зачем-то на старшего, Бактыбая, здорового сорокалетнего быка, с мордой шириной в таз. Бактыбай поведению Ивана не удивился, и не такое видел в общежитиях, и ударил Ивана тяжелым кулаком в лоб. У Ивана посыпались искры из глаз, он сел на пол и устался на казахов. Разглядел на их лицах глубокое презрение. Понял – не брали казахи его обновки. Вскочил и вылетел из их комнаты. Как ураган ворвался в комнату дяди Урмы. Даже не удивился тому, что дверь была не заперта, и мгновенно раскидал все его вещи. Открыл чемоданы, вытряхнул на пол содержимое небольшого шкафа-пенала. Ботинок своих, естественно, не обнаружил и вернулся к себе.

Подскочил к бедному Митрофану, схватил его за грудки, встряхнул и грозно глядя ему в глаза спросил: «Митро, где моя обновка? Где? Где?»

Митрофан и ответить не успел, как Иван подошел к окну, быстро открыл его. Страшно скрипнули ручки и петли, стекла задрожали и чуть не вылетели.

В лицо бешеному Ивану ударил холодный и гнилой московский воздух. Иван глянул вниз. Двор зиял ужасной ямой. Покрытая салатovým кафелем стена тянула в бездну.

Через мгновение несчастный Митрофан уже висел головой вниз, лицом во двор...

Обезумевший Иван держал его правой рукой за ногу. Тряс его, поднимал и отпускал, и скрежетал шальной глоткой и ощеренной пастью.

– Где, где, где, где, где моя обновка???

Митрофан видел исчезающее и появляющееся вновь серое небо и качающуюся противоположную стену двора, тоже кафельную, салатovou. Поискал глазами в небе голубей...

Он ничего не отвечал ошалевшему приятелю, только хрипло стонал, когда его голова билась о холодную стену. Инстинктивно дрыгал свободной ногой. Митрофан был тяжеленек, держать его Ивану на вытянутой руке было трудно.

Бесчисленные окна нашего прямоугольного двора стали с храпом и треском открываться. В комнаты падала противная старая вата, которой забивали на зиму швы. Люди высовывались, жестикулировали, что-то кричали. Кто-то уже вызвал милицию. Услышав во дворе шум, я тоже отодрал длинные белые полосы бумаги и открыл заиндевевшее окно. Увидел висящего вниз головой человека.

Видел я и как Иван неловко дернулся, перегнулся в окно, посмотрел на двор, затем потянул почему-то равновесие и полетел вместе со своей жертвой вниз, прямо на асфальтированную площадку перед домом, незадолго до этого очищенную дворниками от снега. Слышал хлюпающий глухой звук от удара. Видел два распростертых белых тела. И медленно растекающиеся багровые лужицы.

Митрофану повезло – он ударился головой об острый угол бетонного куба, установленного кем-то для того, чтобы машины не припарковывались слишком близко к окнам первого этажа. Он умер сразу, даже не почувствовав боли. Перед самым концом ему привиделась разодетая в сиреневые шелка, с изумрудным ожерельем на волосатой шее, женщина-обезьяна Мончичи. Она послала ему своей мохнатой лапой воздушный поцелуй. А потом схлопнулась и исчезла в томной белизне смерти.

Иван умер на полчаса позже приятеля, в машине скорой помощи по дороге в больницу, рыча и воя от страшной боли в раздробленных костях и сломанном позвоночнике. Врач вколол ему морфий и Ивана тоже посетило перед смертью счастливое видение.

По широкой, обтянутой кумачом лестнице, спустился к нему с неба хрустальный розовый Ленин. В прозрачных светящихся руках вождь мирового пролетариата нес ивановы немецкие ботинки. Подал их Ивану, посмотрел на него ласково и сказал картаво: «Носи на здоровье, товарищ!»

Иван ботинки прижал к груди и прошептал синеющими губами: «Спасибо, Владимир Ильич...»

Улыбка Гопи

В начале лета, когда к Горбачеву Рейган приехал, но еще до взрыва в Арзамасе, по нашему двору прокатился припахивающий какой-то мерзкой достоевщиной слух. Будто бы три ученика соседней десятилетки жестоко изнасиловали в лифте нашей девятиэтажки на улице Голубинской свою одноклассницу, хроменькую и косоглазую Алинку Беспалову.

Об этом ужасном происшествии мне рассказала Зинаида Викентьевна Подливанная, пенсионерка с лицом, похожим на блин, которую хорошо ее знающие соседи за глаза звали не иначе как «эта подлюга». Подливанная двадцать лет возглавляла парторганизацию одного из проектных институтов недалеко от Калужской, а потом проштрафилась, вылетела из партии и чуть не загремела в тюрьму.

– Вся кабина в крови! Сама видела. Три часа лифт стоял, жильцы вверх-вниз пешком ходили, а они там зверствовали. Бедная девочка в голос кричала! Дети перестройки. Горбачов будет доволен! Вот вам ваша свобода-гласность! Хромоножку изнасиловали, звери! Святую юродивую! Девочка в больнице, а изверги на свободе! В этом деле заводила – Левинсон. Он остальных науськал, ясочку нашу в лифт затащить. Святого нашего ангелочка. Сколько еще русская земля этих иродов носить будет? Будет нам когда избавление? Да воскреснет Бог! Да расточатся врази его, яко исчезает дым! – восклицала подлюга Зина и томно закатывала невыразительные белесые глаза без ресниц, сжимая пухлые розовые кулачки и прижимая их к вздымающейся груди. Чувствовалось, что пакостная эта новость ей очень нравится. Отрывает ее от грешной земли и уносит в заоблачные дали.

...

«Святая юродивая хромоножка» Алина Беспалова была моей соседкой по подъезду. Маму ее звали Полина. А папу – Николай Петрович. Познакомился я с Полиной случайно, в универсаме. В очереди в кассу. Заметил, что какая-то усталая женщина читает книгу – «Сарторис» и спросил ее, покосившись на книгу, купил ли уже молодой Байярд автомобиль? Она заинтересованно посмотрела на меня, рассмеялась и похорошела. Мы разговорились. Позже Полина познакомила меня с мужем и дочкой.

Супруги Беспаловы работали в ЦАГИ, в Жуковском. Рано утром их подбирал служебный автобус на Кольцевой дороге. Ровно в семь вечера привозил назад. Беспаловы жаловались, что раньше им приходилось тащиться на работу через всю Москву. Рейсовым автобусом до Беляево, на метро до Выхино, а потом на электричке еще двадцать пять километров. Оба они были инженерами, работали на аэродинамических трубах. Иногда и по ночам. Мне эта техника была знакома, я рассказал им, как на студенческой практике ошибся в расчетах и получилось, что самолет летит хвостом вперед. А они поведали мне о том, почему пассажирские самолеты Туполева зовут «тушками».

В гости друг к другу мы не ходили. Я был бы пожалуй и не прочь раз в месяц раздавить бутылочку с соседями, но Беспаловы не звали, а я не напрашивался и к себе тоже не звал. Что мне им в моей холостяцкой однокомнатной квартире показать? Чем похвастаться? Тараканами на кухне? У них, небось, своих полно. Разве что книгами, но я не люблю давать книги – зачитают. Чем мне их угостить? На мою зарплату не разгуляешься. У меня даже кофе не было. Пил я обычно кипяченую воду.

Разве что, дать им мой рукописный роман? Написал я тогда роман про недовольного советской жизнью молодого человека, который решил убивать в месяц хотя бы одного коммуниста. И преуспел. Заканчивался роман описанием того, как Америка уничтожает СССР массивной атомной бомбардировкой. А мой герой, увидев за несколько секунд до смерти из окна главного здания МГУ атомные грибы, вырастающие по всей Москве, впервые в жизни ощущает радость и умиротворение. И шепчет: «Наконец-то догадались...»

...

Полина была такой серенькой мышкой, начитанной, даже по-своему сексапильной, но какой-то погасшей, прокисшей, безвольной и раньше времени постаревшей. Хорошела она, только когда смеялась. Полина рассказывала мне про дочь, которую она называла «нашей дурочкой». О том, как неожиданно, когда ребенку было уже полгода, началась болезнь. Как они с мужем боролись и победили. Как их измучила советская медицина.

Николай Петрович – худой, высокий, с рябоватым лицом и сонными, всегда полураскрытыми глазами сразу показался мне человеком с двойным дном. Беспалов никогда не глядел в глаза собеседнику, ускользал, уходил от контакта, прятался. Чувствовалось, что ему есть что скрывать. Полину он подчинил себе полностью. Помню, как он однажды пробурчал что-то ей в подъезде, у лифта, и по ее лицу прошла дрожь. Она дернулась, и как будто еще сильнее прокисла, обмякла, постарела, в самой ее фигуре появилась томная линия смирения, согласия, собачьего подчинения.

Однажды я, войдя в наш подъезд, получил сюрприз. На грязном кафельном полу стоял целый флот парусников. Катти Сарк я узнал сам, а названия остальных, удивительно добротного сделанных, почти метровых моделей, с изумительными шелковыми парусами огласил мне сам мастер, вышедший из лифта с трехтрубной Авророй под мышкой.

– Фермопилы, Сэр Ланселот, Титания, бригантина Юнона, фрегат Паллада. А этот глупый крейсер, – как бы извиняясь, добавил Николай Петрович, – мне пришлось сделать, чтобы допустили к участию в конкурсе.

– А как же самолеты? Ревновать не будут?

– Этого добра и на работе выше крыши. Всю жизнь мечтал прокатиться на паруснике. Но удалось пока только на Голландце по Клязьме несколько раз пройти. Однажды даже спинакер выпускали. Красота.

Тут Беспалов запел скрипучим баритоном популярную тогда песню.

– В флибустьерском, дальнем синем море, бригантина поднимает паруса.

Я подпел, покрякал уважительно, потрогал снасти и ушел к себе. От всех этих парусников пахло чем-то фальшивым. А «Бригантина» написана в 1937 году!

Мне показалось, что чайные клиперы, фрегаты и авроры – это второе дно Беспалова, существующее только для того, чтобы лучше спрятать от всех и от самого себя – третье или четвертое или энное, настоящее дно этого неприятного человека. Какие чудовища там обитали? Какие страсти-мордасти пришлось прикрывать алыми парусами?

С Алинкой я тоже несколько раз перекинулся парой слов. Вовсе она не дурочка, не святая, не юродивая! Ну да, глазки слегка косят, отчего она только интереснее кажется, ходит чуток на цыпочках, коленки тоненьких длинных ножек как будто друг к другу приклеены. На школьном синем пиджачке – дюжина значков неправильной группкой. Города. Несколько значков и на жилетке. Суздаль с куполами. Киржач с совой. Псков с Довмонтовой башней. Нормальная московская девчушка. Белокурая. Задумчивая. Но не печальная. Кокетливая даже. Что-то было в ней от чудесных пастушек гопи, беззаботных богинь-милашек, спутниц Кришны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.